



БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Марсель  
Пруст



СТОРОНА  
ГЕРМАНТОВ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Марсель Пруст  
**Сторона Германтов**

«Азбука-Аттикус»

1922



УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

## **Пруст М.**

Сторона Германтов / М. Пруст — «Азбука-Аттикус»,  
1922 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-18722-1

Первый том самого знаменитого французского романа XX века вышел более ста лет назад – в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. «Сторона Германтов» – третий том семитомного романа Марселя Пруста. Если первая книга, «В сторону Сванна», рассказывает о детстве главного героя и о том, что было до его рождения, вторая, «Под сенью дев, увенчанных цветами», – это его отрочество, крах первой любви и зарождение новой, то «Сторона Германтов» – это юность. Рассказчик, с малых лет покоренный поэзией имен, постигает наконец разницу между именем человека и самим этим человеком, именем города и самим этим городом. Он проникает в таинственный круг, манивший его с давних пор, иными словами, входит в общество родовой аристократии, и как по волшебству обретает дар двойного зрения, дар видеть обычных, не лишенных достоинств, но лишенных тайны и подчас таких забавных людей – и не терять контакта с таинственной, прекрасной старинной и животворной поэзией, прячущейся в их именах. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст – почтенный, интеллектуальный, но скучный автор. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44



ISBN 978-5-389-18722-1

© Пруст М., 1922  
© Азбука-Аттикус, 1922



## Содержание

От переводчика	7
Часть первая	11
Конец ознакомительного фрагмента.	94



# **Марсель Пруст**

## **Сторона Германтов**

© Е. В. Баевская, перевод, предисловие, примечания, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство Иностранка®



## От переводчика

*...в те года, когда мы ездим в свет...*

*А. К. Толстой*

Чтобы дать представление о том, как создавался третий том «Поисков», нам придется воссоздать общую картину работы над этим самым знаменитым французским романом XX века.

Первая цельная версия «Германтов» (еще не совсем такая, как та, что нам теперь известна) возникла в черновиках 1910–1911 года. В 1913 году, когда вышла из печати первая книга, «В сторону Сванна», Пруст планировал еще только два тома – «Сторону Германтов» и «Возвращенное время», в котором стороны Сванна и Германтов сойдутся вместе. На оборотной стороне обложки «Сванна» издатель Грассе предполагал поместить анонс о том, что «Германты» выйдут в 1914 году. Рукопись «Германтов» была впервые перепечатана набело уже весной 1913 года. Она предназначалась для того же Бернара Грассе (нынешний второй том, «Под сенью дев, увенчанных цветами», тогда еще не планировался). Поэтому рукопись «Германтов» сразу пошла в набор.

Но, пока делались гранки, Пруст узнал о внезапной смерти близкого человека, Альфреда Агостинелли (исследователи считают его прототипом Альбертины, великой любви героя «Поисков»). Самолет, который вел Агостинелли, потерпел крушение над Антибом и упал в море. Писатель был в такой горе, что даже не вскрывал пакеты с гранками, которые присылали из издательства, не говоря уж о том, чтобы вычитывать их и править. Он отложил книгу в сторону и больше к ней не прикасался, а тем временем 3 августа 1914 года Германия объявила Франции войну.

Бернар Грассе был призван в армию и только в 1916 году, в ответ на уговоры Пруста, согласился расторгнуть с ним договор; теперь писатель смог заключить новый договор с издательством «Нувель Ревю Франсез» («НРФ»), которое затем было преобразовано в «Галлимар». Но, пока шла война, выпускать книги все равно было невозможно, а тем временем производство стало развиваться не так, как было предусмотрено. Теперь Пруст писал роман не подряд, а произвольно переходя от одного его места к другому. Та часть, что задумывалась как первая глава «Возвращенного времени», стала разрастаться и в 1915 году уже превратилась в отдельную книгу «Под сенью дев, увенчанных цветами» (нынешний второй том), которой явно надлежало идти после «Сванна». Начиная с 1914 года происходит работа над «Содомом и Гоморрой» (четвертый том), в 1915 году Пруст делает наброски «Пленницы» (пятый том) и дорабатывает «Под сенью дев» (второй), тогда же появляется начало «Исчезновения Альбертины» (шестой том). А над «Обретенным временем» (седьмой том), которое с самого начала задумывалось как завершение, писатель начал работать еще в 1912 году. В сущности, разбиение на семь книг, которое сегодня кажется таким логичным и стройным, было обусловлено скорее издательскими соображениями, чем волей автора или внутренними требованиями композиции. Писатель хотел издать все оставшиеся книги одновременно, ему было чрезвычайно важно, чтобы читатели не воспринимали «Поиски» как серию разрозненных произведений, а почувствовали, что это один большой роман. Он пытался протестовать против произвольного деления романа на отдельные тома: «Это противоречит духу книги». Против такого одновременного издания возражал Гастон Галлимар, которого заботила техническая и коммерческая сторона дела, а Пруст, пользуясь промедлением, все дорабатывал и дописывал «Поиски». В конце концов, как мы знаем, в июне 1919 года, вскоре после окончания войны, вышел из печати том «Под сенью дев». Теперь дело было за «Германтами». Книга была как будто готова, но все еще нуждалась в доработке и исправлениях. Вообще, девятнадцатый год оказался трудным для



Пруста: мало того, что здоровье его неуклонно ухудшалось, вдобавок дом на бульваре Осман, где он снимал квартиру с 1909 года, перешел к другому владельцу, и в середине января, едва оправившись от очередной пневмонии, ему пришлось избавляться от мебели, перебираться во временное пристанище и искать другую постоянную квартиру. Больному астмой все это было мучительно. Он переехал в дом, принадлежавший талантливой актрисе Режан, матери его доброго знакомого, снял у нее квартиру на пятом этаже. Владелице дома в это время было уже шестьдесят два года, и временный жилец заимствовал у нее некоторые черточки, когда описывал старость актрисы Берма. Но в конце лета Режан, как и было предусмотрено их соглашением, попросила жильца освободить квартиру, и в октябре Пруст опять переехал, на сей раз на улицу Адмирала Амлена, в квартиру на шестом этаже, да еще и без лифта; он полагал, что этот переезд опять временный, но новое жилище оказалось последним. Сразу после переезда он вновь взялся за роман и стал пересматривать новые гранки «Германтов», уже поступившие из «НРФ».

Ход работы нарушило радостное, в сущности, событие: в ноябре 1919 года том «Под сенью дев, увенчанных цветами» удостоился Гонкуровской премии. Эта премия стоила автору многих волнений и огорчений, но, с другой стороны, что ни говори, впервые в жизни к нему пришло признание. Не слава, конечно, не успех, но все же признание понимающей публики. Пруст, чувствуя себя переутомленным и больным, обратился к главному редактору издательства «НРФ», критику Жаку Ривьеру, с просьбой прислать ему «кого-нибудь образованного... чтобы читал [ему] вслух гранки первой части „Стороны Германтов“»<sup>1</sup>. Так в качестве помощника у Марселя Пруста очутился молодой Андре Бретон. Правда, совместная работа оказалась не очень продуктивной: Бретон приходил к нему читать вслух всего один раз, и позже, в письме поэту Филиппу Супо, Пруст жаловался, что в тексте осталось огромное количество опечаток, которые ему пришлось выправлять самостоятельно.

Возглавлявший издательство Гастон Галлимар понимал, что слишком толстые книги отпугивают читателей, и под его нажимом Пруст согласился, хоть и не сразу, на публикацию книги двумя частями. Он торопил издателя, надеялся, что роман еще успеет выйти весь целиком при его жизни, а Галлимар объяснял все новые задержки то забастовками, то нехваткой бумаги и других типографских материалов... Таким образом, первая часть «Германтов» вышла из печати только в октябре 1920 года, а вторая весной 1921-го, под одной обложкой с первой частью «Содома и Гоморры».

Как только вышла из печати первая часть «Германтов», друзья автора – мадам Стросс, Люсьен Доде, Жан Кокто – поспешили его поздравить и выразить свое восхищение, зато вознегодовали те, кто усмотрел в персонажах сходство с собой. Маркиз д'Альбуфера узнал себя в Робере Сен-Лу и объявил, что прерывает с Прустом отношения, графиня де Шевинье узнала себя в герцогине Германтской и настолько обиделась, что рассорилась с автором и в гнев сожгла все его письма. Пруст огорчился, Кокто его утешал: «Фабр написал книгу о насекомых, но он же не просил насекомых ее читать». Отклики в прессе были скорее благоприятны, хотя не обошлось без обвинений в снобизме, а это означало, что книгу читают поверхностно, не добираясь до ее смысла. Отзывы на вторую часть «Германтов», да еще объединенную с первой частью «Содома и Гоморры», еще более противоречивы: например, критик Поль Судэ в «Ле Тан» объявляет автора «Бергсоном и Эйнштейном психологического романа», и тут же Бине-Вальмер в «Комедиа» предупреждает читателей об «извращениях, в которых г-н Пруст черпает удовольствие». Но писатель, несмотря на все ухудшающееся состояние здоровья, всю готовит к выходу следующий том, то есть вторую часть «Содома и Гоморры».

Мы уже говорили о том, что процесс работы над «Поисками» кажется несколько хаотичным, в нем много случайностей, неожиданностей, а результат получился на редкость стройный

<sup>1</sup> Marcel Proust – Jacques Rivière. *Correspondance 1914–1922*. Paris: Gallimard, 1976. P. 89.



и гармоничный. Не случайно в последнем, седьмом томе герой «Поисков» сравнивает свое произведение с готическим собором, это очень точный образ, дающий представление о том, как сочетается в романе прихотливость с упорядоченностью:

...Чтобы каждый том воспринимался как часть единого целого, писатель... должен готовить свою книгу тщательно, постоянно перестраивая части, как войска во время наступления, терпеть ее, как усталость, повиноваться ей, как правилу, строить, как церковь, соблюдать, как диету, побеждать, как препятствие, завоевывать, как дружбу... И в таких больших книгах есть части, которые вы успели только наметить и, скорее всего, никогда их не кончите, именно из-за обширности плана, замысленного архитектором. Увы, как много огромных соборов остались недостроенными!

И даже при том, что повествование беспрестанно то забегает вперед, в будущее, то возвращается к прошлому, о котором уже было сказано, да и не раз, – если отойти на некоторое расстояние, то ясно видишь: «В сторону Сванна» – это наше детство, «Под сенью дев, увенчанных цветами» – отрочество, «Сторона Германтов» – юность. Рассказчик, с малых лет покоренный поэзией имен, постигает наконец разницу между именем человека и самим этим человеком, именем города и самим этим городом. Он проникает наконец в таинственный круг, манивший его с тех самых пор, как он любовался в детстве витражами старинной комбрейской церкви и смотрел в волшебном фонаре историю Женевьевы Брабантской, – иными словами, он входит в общество родовой аристократии и как по волшебству обретает дар двойного зрения, дар видеть обычных, не лишенных достоинств, но лишенных тайны и подчас таких забавных людей – и не терять контакта с таинственной, прекрасной стариной и животворной поэзией, прячущимися в их именах.

Скажем два слова о пресловутом психологизме Пруста: сам писатель уверял, что его роман не столько психологический, сколько интроспективный, то есть основан на постоянном самонаблюдении. Видимо, именно поэтому психологические открытия Пруста приложимы к любому из нас.

А о социологическом значении «Германтов», возможно, лучше всех высказался философ Рене Жиар в книге «Романтическая ложь и романная правда»:

Имеет ли книга Пруста социологическую ценность? б...с Пруста, говорят нам, интересует лишь старая аристократия. Его творчеству недостает «охвата и объективности»...<sup>2</sup>

Да нет же, утверждает философ, ничего подобного:

...Марсель Пруст в большинстве сфер буржуазной и даже народной жизни обнаруживает... бессмысленную борьбу противоположностей, ненависть к сокрытому божеству, изгнание неугодных и мертвящие табу б...с

Благодаря этому постепенному расширению свойственной роману правды понятие снобизма можно распространить на самые разные круги и профессии. В «Поисках потерянного времени» есть снобизм профессоров, врачей, судей и даже горничных. Именно то, как Пруст употребляет слово «снобизм», позволяет ему разработать ту «абстрактную» социологию, которая приложима к любой среде, но особенно действенны ее принципы в самых богатых и праздных слоях общества<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Girard René. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Hachette Littératures, 2004. P. 245.

<sup>3</sup> Girard René. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Hachette Littératures, 2004. P. 251.



В «Германтах» Пруст всю продолжает играть на мандельштамовской «упоминательной клавиатуре». Но теперь, когда мы отправились в сторону Германтов, к именам писателей, художников, музыкантов, исторических деятелей добавился чуть не весь Готский альманах, причем вполне реальные аристократические фамилии уживаются на страницах романа с вымышленными. Поэтому книга снабжена довольно подробными примечаниями, которые могут быть интересны тем, кто хотел бы заглянуть в рабочий процесс писателя, понять, почему он приводит такую-то цитату или упоминает такое-то событие, какого героя он придумал, а какого списал с натуры. Однако мы избегаем слишком углубляться в генеалогические дебри, предоставляя наиболее любознательным читателям проводить самостоятельные исследования на этот счет.

Цитаты в предисловии, тексте и комментариях переведены мной, за исключением тех случаев, когда указано имя переводчика.

Напоследок спешу поблагодарить тех, без чьей помощи этот том, кстати самый длинный из семи, едва ли увидел бы свет. Благодарю за консультации и поддержку моего учителя и коллегу профессора Жозефа Брами, а также мою коллегу Катрин Келли за постоянную помощь в работе над французским текстом; моих редакторов Елену Березину и Алину Попову за самоотверженную и строгую правку; всех друзей, читавших первые варианты перевода, помогавших искать ссылки, поддерживавших меня и ободрявших, в первую очередь Наталью Мавлевич, Семена Шлосмана, Софи Бенеш и многих, многих других.

*Елена Баевская*



## Часть первая

*Леону Доде<sup>4</sup>,  
автору «Путешествия Шекспира», «Дележа ребенка», «Черного  
светила», «Призраков и живых», «Мира образов» и многих других  
шедевров.*

*Несравненному другу, в знак признательности и восхищения.  
М. П.*

Утренний щебет птиц раздражал Франсуазу. Она вздрагивала от каждого слова, доносившегося сверху, с этажа «горничных»; их шаги ее тревожили, она гадала, кто это там ходит; а все потому, что мы переехали. Конечно, на седьмом этаже нашего старого жилья прислуга сновала взад и вперед не меньше, но там Франсуаза всех знала и в каждом шуме ей слышался дружеский привет. А теперь даже к тишине она прислушивалась с болезненным вниманием. Наш новый квартал был тихим, а бульвар, на который выходило наше старое жилье, – шумным, и от пения случайного прохожего (даже издали звучавшего отчетливо, как основная тема в оркестре) на глаза изгнанницы Франсуазы наворачивались слезы. Я смеялся над ней, пока она, удрученная тем, что приходится покидать дом, «где нам отовсюду было сплошное уважение», по заведенному в Комбре обычаю с рыданиями укладывала сундуки и причитала, что наш старый дом несравнимо лучше любого другого; но я ведь и сам так трудно осваивался со всем новым, хотя со старым расставался легко; поэтому, видя, как она изнемогает из-за переезда в дом, где швейцар нас еще не знал и не оказывал Франсуазе почтения, необходимого ей для правильного питания души, я внутренне примирился с нашей постаревшей служанкой. Она-то могла меня понять, не то что молоденький лакей, который был и не из Комбре вовсе и ничего общего с Комбре не имел: для него переезд в другой квартал был вроде каникул, и смена обстановки бодрила его, как путешествие; ему казалось, что мы за городом, и напавший на него насморк, словно простуда, которую подхватываешь в вагоне, где дует из окна, давал ему восхитительное чувство, будто он недавно любовался природой; чихая, он всякий раз радовался, что ему подвернулось такое шикарное место, – ведь он всегда хотел служить у хозяев, которые много путешествуют. Поэтому, не думая о нем, я пошел прямо к Франсуазе; но за то, что при отъезде я насмеялся над ее слезами, теперь она с ледяным равнодушием отнеслась к моей печали, именно потому, что и сама чувствовала то же самое. У возбудимых людей вместе с их воображаемой «чувствительностью» обостряется эгоизм: они терпеть не могут, когда другие выставляют напоказ недуги, которые все больше и больше беспокоят их самих. Франсуаза прислушивалась к малейшему своему недомоганию, но, если болел я, отворачивалась, чтобы не порадовать меня своей жалостью или хотя бы просто тем, что заметила, как мне худо. Когда я попытался поговорить с ней о нашем новом доме, она повела себя точно так же. Впрочем, через два-три дня, пока меня еще «температурило» от последствий переезда и я, словно удав, недавно проглотивший быка, чувствовал, как у меня при виде длинного сундука, который моему взгляду предстояло «переварить», мучительно выпячиваются выпуклости и шишки, Франсуазе пришлось сходить на старую квартиру за забытыми носильными вещами, и, переменчивая, как все женщины, она потом рассказывала, что чуть не задохнулась на нашем бывшем бульваре, что по дороге она «наплуталась», что в жизни не видела таких неудобных лестниц, как в том доме, и что не вернется туда жить «ни за какие коврижки», пускай ей хоть миллионы посулят (предположение, ни на чем не основанное), и что в нашем новом жилище

---

<sup>4</sup> *Леону Доде...* – Книга посвящена Леону Доде (1867–1942) – литератору, сыну Альфонса Доде, члену Гонкуровской академии, в знак благодарности за то, что он приложил много стараний к тому, чтобы в 1919 г. Пруст получил Гонкуровскую премию за вторую книгу «Поисков» – «Под сенью дев, увенчанных цветами».



все – то есть кухня и коридоры – «налажено» куда лучше. Самое время сказать, что переехали мы ради бабушки, хотя ей об этом говорить остерегались (она начала прихварывать, и ей нужно было больше свежего воздуха), и что наша новая квартира примыкала к особняку Германтов.

В том возрасте, когда мы прозреваем в Именах образ непознаваемого, который сами же в них вложили, они по-прежнему означают для нас и реальное место, тем самым заставляя нас приравнять одно к другому, – и вот в каком-нибудь городе мы ищем душу, а ее там нет и быть не может, но мы уже бессильны изгнать ее из имени этого места; причем мало того, что имена, уподобляясь аллегорическим картинам, придают индивидуальность городам и рекам, испещряют их разными узорами, населяют чудесами, – то же самое они проделывают и с чуждой нам социальной средой: они внушают нам веру, что в каждом знаменитом замке, особняке или дворце обитает его владычица или фея, точно так же, как обитает дриада в каждом лесу и наяда в каждом ручье. Иногда фея, прячущаяся на дне своего имени, преобразается в угоду нашему воображению, которое ее питает; так атмосфера, окружавшая у меня в душе герцогиню Германтскую, годами оставалась лишь отсветом стеклышка из волшебного фонаря да отблеском церковного витража, а потом, когда совсем другие мечты пронизали эту атмосферу пенной влагой бурных потоков, ее краски постепенно померкли.

Но фея чахнет, если мы сближаемся с реальным человеком, который носит то же имя, потому что теперь уже имя отражает этого человека, а у него нет ничего общего с феей, хотя она еще может воскреснуть, если мы от него отделимся; но если мы останемся рядом с ним, фея умрет навсегда, а вместе с ней исчезнет имя; так роду Лузиньянов было предначертано угаснуть в тот день, когда сгинет фея Мелюзина<sup>5</sup>. И если раньше, уцелев под позднейшими записями, на поверхности Имени могло проступить первоначальное изображение, прекрасный портрет незнакомки, которой мы никогда не встречали, то теперь оно превращается в обыкновенную фотографическую карточку, в которую мы заглядываем, чтобы понять, знаем ли мы проходящую мимо даму и нужно ли с ней раскланиваться. Ведь стоит ощущению, знакомому по минувшим годам (подобно записывающему музыкальному инструменту, хранящему звук и манеру игры музыкантов, которые на нем играли прежде<sup>6</sup>), извлечь из нашей памяти звук этого имени с тем особым тембром, который улавливали в нем наше ухо в те прежние времена, – и сразу, хоть имя вроде бы все то же, мы уже чувствуем, сколько времени пролегло между мечтами, которые в разные эпохи нашей жизни означал для нас этот звук. На мгновение услышав опять ту самую листву, что шелестела давно минувшей весной, мы извлечем из нее, как из тюбиков с краской, верный оттенок, забытый, таинственный и свежий оттенок дней, которые мы, казалось, помнили и раньше, пока, словно плохие художники, располагали все наше прошлое на одном холсте, изображая его в условных и однообразных тонах произвольной памяти. А на самом деле наоборот, каждый миг этого прошлого, запечатленный в творческом порыве, слагался в особую гармонию, был прописан тогдашними красками, о которых мы теперь уже понятия не имеем, и только иногда они внезапно пленяют нас, если, к примеру, спустя столько лет нашего слуха коснется имя Германт, и на мгновение прозвучит не по-нынешнему, а так, как звучало оно для меня в день, когда выходила замуж мадмуазель Перспье, и вернет мне тот самый сиреневый цвет, такой неправдоподобно нежный, новенький, бархатистый цвет пышного шарфика, что был на молодой герцогине, и цвет ее глаз, подобных цветущим барвинкам, которые нельзя сорвать, барвинкам, осененным лучистой улыбчи-

<sup>5</sup> ...когда сгинет фея Мелюзина. – Связь феи Мелюзины с родом Лузиньянов прослеживается и в этимологии (возможно, Mélusine – это искаженное «Mère Lusignan», «матушка Лузиньянов»), и в средневековых преданиях, где Мелюзина считается родоначальницей рода Лузиньянов и является потомкам за три дня до их смерти. Писатель XIV в. Жан Аррасский первым запечатлел эту легенду на письме в своем прозаическом «Романе о Мелюзине» (ок. 1393). К семейству Лузиньянов Пруст вернется на последних страницах настоящего тома.

<sup>6</sup> ...подобно записывающему музыкальному инструменту... играли прежде... – Имеется в виду «Вельте-Миньон», разновидность механического фортепиано, разработанную немецкой фирмой «М. Вельте и сыновья» в 1904 г. Этот инструмент позволяет записать исполнение пианиста и затем воспроизвести эту запись.



вой синевой. А еще имя Германт, прилетевшее из тех времен, похоже на шарик, наполненный кислородом или другим газом: когда мне удастся его проколоть, извлечь из него то, чем он надут, я вдыхаю тот же комбрейский воздух, что в давнишний год, в давнишний день, воздух, смешанный с запахом боярышника, колеблемого ветерком, прорывавшимся из-за угла на площадь, предвестником дождя, ветерком, который время от времени сдувал солнце в сторону и расстилал его лучи поверх шерстяного красного ковра в ризнице, примешивая к алому цвету ослепительно розовый, чуть не телесный оттенок герани и какую-то вагнерианскую нежность, что добавляла столько благородства праздничному ликованию. Нам редко выпадают подобные минуты в головокружительном водовороте повседневности, где имена служат чисто практическим целям, где они обесцвечиваются, подобно пестрой юле, которая кружится так быстро, что кажется не цветной, а серенькой, – и разве что изредка мы нет-нет да и почувствуем, как в недрах совсем уже мертвых, выдохшихся звуков дрожит и обретает свою изначальную форму, свой прежний силуэт изначальная сущность имен; зато, когда мы задумываемся и, желая вернуться к прошлому, пытаемся мысленно замедлить, приостановить вечное движение, пока оно тащит нас все дальше и дальше, – постепенно перед нашим взором возникают в одном ряду, но совершенно отдельно друг от друга, все оттенки, которые на протяжении нашей жизни являло нам последовательно одно и то же имя.

Вероятно, какой-то образ мерещился мне, когда моя кормилица, не зная, как и я до сих пор не знаю, о ком сложена ее старинная песенка, баюкала меня, напевая «Слава маркизе Германтской», или несколькими годами позже, когда моя няня преисполнялась гордости, если старенький маршал Германт останавливался на Елисейских Полях и со словами: «Какой милый ребенок!» извлекал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету, но тут уж я ничего не знаю. Годы моего раннего детства мне уже не принадлежат, не имеют ко мне отношения, я знаю о них только из рассказов других людей, не больше, чем о том, что было до моего рождения. Но позже это самое имя постепенно вызывает у меня в памяти по очереди семь-восемь разных лиц; самыми прекрасными были самые первые, но потом действительность мало-помалу теснила меня с рубежей, которые я не в силах был удержать, и я отходил на прежние позиции, а в конце концов и вовсе отступал. Герцогиня Германтская постоянно перелетала из одного замка в другой, причем каждый замок выстраивался из ее имени, год от году вбиравшего в себя соки из невзначай услышанных мною слов, вносящих поправки в мои мечты; и тогда уже эти мечты начинали отражаться в камнях замка, которые оказывались зеркальными, как поверхность облака или озера. Сеньор и его дама вершили судьбы своих вассалов с вершины донжона, плоского, как лист бумаги (на самом деле это была просто оранжевая полоска света на небе), и донжон этот высился на самом краю «стороны Германтов», в которую мы с родителями столько раз ходили ясными днями по течению Вивонны, а позже сменился страной, пронизанной бурными потоками, где герцогиня учила меня ловить форель и говорила, как называются багрово-фиолетовые цветы, гроздьями ниспадавшие с низких оград окрестных садов; за садами начинались наследственные владения, поэтичные земли, из которых, подобный испещренной геральдическими цветками золотистой башне, дошедшей до нас из глубины веков, вздымался над Францией горделивый род Германтов, – и было это, когда еще пустовали небеса там, где позже вырастут соборы Парижской и Шартрской Богоматери; когда на холме над городом Ланом еще не вознесся собор, словно ковчег на вершине горы Арарат после потопа, полный патриархов и праведников, тревожно глядящих из окон и гадающих, настал ли конец гневу Господню, тот самый ковчег, несущий в себе семена всевозможных растений, что потом разрастутся по всей земле, тот самый ковчег, полный скота, рвущегося наружу и чуть ли не лезущего вверх на башни, так что быки уже мирно бродят по крыше и смотрят сверху на равнины Шампани, – но путешественнику, под вечер покидающему Бовэ, еще не видны провожающие его по всем поворотам дороги, расправленные на золотом закатном фоне черные раскидистые крылья собора. Этот замок Германт был похож на место, где развернется



действие романа, это был воображаемый пейзаж, который мне так трудно было себе представить, а потому так хотелось увидеть, – Германт, подобный острову посреди реальных земель и дорог, которые вдруг в каких-нибудь двух лье от вокзала преисполнялись геральдических подробностей; я так помнил имена соседних городков и деревень, словно они были расположены у подножия Парнаса или Геликона, и они представлялись мне бесценными, ведь это были, в смысле топографии, материальные условия, необходимые для того, чтобы свершилось нечто таинственное. Я вновь видел гербы, повторявшиеся в нижней части комбрейских витражей; век за веком каждую их четверть заполняли владения, которые благодаря бракосочетаниям и приобретениям слетались в этот властительный дом из всех уголков Германии, Италии и Франции: необъятные северные земли и богатые южные города примыкали к Германту, становились его частью и, теряя свою материальность, аллегорически вписывали свой зеленый донжон или серебряный замок в его лазурное поле. Я слышал о знаменитых шпалерах Германтов и видел, как эти шпалеры, средневековые, синие, слегка грубоватые, выделяются, словно облако, на фоне имени, багряного и легендарного, на опушке древнего леса, где когда-то охотился Хильдеберт<sup>7</sup>, и, вглядываясь в этот чистый таинственный фон, в эти земли, в эти уходящие вдаль столетия, я воображал, что, наподобие странника, запросто проникну в их секреты, если на мгновение перенесусь в Париж герцогини Германтской, властительницы здешних мест и дамы озера<sup>8</sup>, словно в ее лице и словах заключены и особая прелесть местных лесов и равнин, и все те несравненные черты старины, что и в ветхом своде законов из ее архивов. Но потом я познакомился с Сен-Лу и узнал от него, что замок называется Германт только с XVII века, когда его купила семья Германтов. До того они жили по соседству, а их титул ведет свое происхождение не из этого края. Деревню Германт построили после замка и дали ей то же имя; до сих пор имеет законную силу документ, оговаривающий ограничения в планировке улиц и в высоте домов, а все для того, чтобы не закрывать вид из замка. А шпалеры изготовлены по рисункам Буше<sup>9</sup>, куплены в XIX веке одним из Германтов, любителем изящных искусств, и развешаны рядом с посредственными сценами охоты, которые написал он сам, в отменно уродливой гостиной, отделанной кумачом и плюшем. Этими разоблачениями Сен-Лу привнес в имя Германтов посторонние примеси, и я уже не мог, как раньше, выстраивать стены замка исключительно из звуков его названия. И тогда внутри этого имени истаял замок, отраженный в озере, так что теперь жилищем, обрамлявшим жизнь герцогини Германтской, представлялся мне ее парижский особняк, особняк Германтов, хрустальный, как ее имя, ведь ничто мутное, ничто материальное не затуманивало и не нарушало его прозрачности. Известно, что церковь – это не только сам храм, но и собрание верующих; вот так и особняк Германтов вобрал в себя всех, кто участвовал в жизни герцогини, но эти ее близкие, которых я никогда не видел, оставались для меня лишь именами, оваянными славой и поэзией, и знали они исключительно с теми, кто тоже оставался именем, а потому тайна герцогини становилась все глубже и непреступней, окруженная их необъятным, постепенно сходящим на нет ореолом.

Я и мысли не допускал, что у гостей на ее праздниках могут быть тела, усы, ботинки, что они могут произнести что-нибудь не только банальное, но даже оригинальное на обычный, разумный и человеческий лад, а потому водоворот имен, не более материальный, чем пиршество призраков или бал привидений, клубившийся вокруг статуэтки из саксонского фарфора, то есть герцогини Германтской, оставался прозрачным, будто окна ее стеклянного особняка. Позже, когда Сен-Лу рассказал мне занятные истории о капеллане его кухни, о ее садовниках,

<sup>7</sup> ...где когда-то охотился Хильдеберт... – Хильдеберт (495–558) – король франков из династии Меровингов, сын короля Хлодвиг.

<sup>8</sup> ...властительницы здешних мест и дамы озера... – Дама озера (ее называют еще Дева озера, Владычица озера) – легендарная волшебница, персонаж рыцарских романов.

<sup>9</sup> ...по рисункам Буше... – Французский художник, гравер и декоратор Франсуа Буше (1703–1770) помимо живописных полотен, росписей, театральных декораций создавал картины для королевских шпалерных мануфактур.



особняк Германтов превратился, подобно какому-нибудь Лувру в стародавние времена, во что-то вроде замка, окруженного прямо посреди Парижа угольями, унаследованными по древнему праву, чудом дошедшему до наших дней, – и на этих землях по-прежнему сохранялись все ее феодальные привилегии. Но и это последнее пристанище развеялось, когда мы переехали поближе к маркизе де Вильпаризи, в одну из квартир по соседству с герцогиней Германтской, расположенную во флигеле, примыкавшем к ее особняку. Это был один из старых больших домов, какие, наверно, можно увидеть еще и сейчас; часто на парадный двор такого дома – не то нанесенные набегавшим валом демократии, не то доставшиеся по наследству от старых времен, когда представители разных ремесел жались поближе к сеньору, – выходили задние комнаты лавчонок и мастерских, а то и будка сапожника или закуток портного: в те времена, когда эстетика строителей еще не обрекала такие строения на снос, они мостились к бокам соборов: тут вам и швейцар-сапожник, который к тому же разводит кур и цветы, а в глубине, в той части дома, что считается, собственно, «особняком», – «графиня», выезжающая в ветхой коляске, запряженной парой лошадей, в шляпке, осененной наsturциями, судя по всему, сбегавшими из садика при ложе швейцара, причем рядом с кучером садится лакей, соскакивающий с козел, чтобы занести визитные карты с загнутыми уголками в каждый аристократический особняк в округе<sup>10</sup>, а хозяйка знай себе улыбается и слегка машет рукой всем без разбору, детям привратника и горожанам, снимающим помещения в доме, которых она в презрительной своей любезности и эгалитарном высокомерии вечно путает.

В доме, куда мы переехали, важная дама, живущая в глубине двора, была элегантна и еще молода. Это была герцогиня Германтская, и благодаря Франсуазе я вскоре кое-что узнал о нашем особняке. Дело в том, что Германты (которых Франсуаза часто называла «нижние» или «те внизу») были предметом ее неустанный интереса с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неудержимый, беглый взгляд на двор и говорила: «Надо же, две монахини, ну ясно, эти к нижним идут» или «Ох какие фазаны чудные в окне кухни, понятно, откуда такие взялись, это герцог охотился», – и до самого вечера, когда, подавая мне все, что нужно для отхода ко сну, она, бывало, слышала звуки фортепьяно, отзвук песенки, и делала вывод: «У тех внизу гости, ишь веселятся», и ее правильное лицо, обрамленное совсем уже седыми волосами, озарялось юной улыбкой, воодушевленной и благопристойной, благодаря которой ее черты на миг разглаживались, проникались жеманным лукавством, как перед контрдансом.

Но больше всего возбуждал интерес Франсуазы, больше всего радовал ее и терзал тот миг, когда распахивались обе створки входных дверей и герцогиня садилась в коляску. Обычно это происходило вскоре после того, как у наших слуг завершалось священнодействие, коего никому не дозволено было прерывать, то есть обед; в это время они были «табу», и даже отец и тот не смел беспокоить их звонками, понимая, впрочем, что никто не побеспокоится ни на первом звонке, ни на пятом, так что этот неподобающий поступок он совершит без всякого толку и себе же во вред. Ведь с тех пор как Франсуаза постарела, она по каждому удобному поводу напускала на себя неодобрительный вид, и на лице ее, испещренном красными клинышками прожилок, невнятно отражалась долгая память о ее сетованиях и о подспудных причинах ее недовольства. Впрочем, она высказывала их и вслух, но так, в воздух, так что мы не могли расслышать как следует то, что она говорила. У нее это называлось причитать целый божий день: ей казалось, что так оно нам досаднее, обиднее и вообще оскорбительнее.

---

<sup>10</sup> ...занести визитные карты с загнутыми уголками в каждый аристократический особняк в округе ... – Обычай требовал в знак внимания заводить визитные карты знакомым, загибая правый верхний угол в знак того, что карту завез лично ее обладатель.



Покончив с последними ритуалами, Франсуаза, которая, как в церквах первых христиан, воплощала в себе и пастыря и паству, наливала себе последний бокал вина, снимала с шеи салфетку, сворачивала ее, вытирая с губ последние винные и кофейные капли, продевала ее в кольцо, скорбным взором благодарила «своего» юного лакея, предлагавшего ей в избытке усердия: «Еще немножко винограда, мадам, уж очень хорош», и поскорей шла открывать окно под тем предлогом, что «в этой мерзкой кухне» слишком жарко. Поворачивая ручку оконной рамы, чтобы высунуться и подышать свежим воздухом, она тем временем уже успевала равнодушно оглядеть двор и убеждалась, что герцогиня еще не готова; на мгновение ее горящий презрительный взгляд задерживался на упряжке, а затем глаза ее, уделив каплю внимания земной суеде, обращались к небесам: она заранее чувствовала, как безоблачно небо, как свеж и чист воздух, как пригревает солнце, и в уголке под крышей находила местечко, где каждую весну прямо под трубой от камина в моей комнате вили гнездо голуби, точь-в-точь такие, как те, что ворковали у нее на кухне в Комбре.

«Ох, Комбре, Комбре», – взывала она. (И так напевно звучал ее голос, пока она причитала, и таким по-арльски ясным было ее лицо, что можно было заподозрить, будто она родилась на юге и утраченная родина, которую она оплакивает, – это ее вторая, новая родина. Но скорее всего это было бы заблуждением: ведь, в сущности, в каждой провинции есть свой «юг» и у множества савойцев или бретонцев проскальзывают в голосе эти певучие чередования долгих и кратких, по которым узнается южный говор.) «Ох, Комбре, кабы вновь тебя увидеть, край ты мой любимый! Кабы день-деньской глядеть на твой боярышник да на сирень нашу бедную, да слушать зябликов, да Вивонну, как она журчит себе, ровно кто-то шепчется, а не эту проклятую сонетку, а то наш молодой хозяин и полчаса не посидит, чтобы не позвонить, и я знай себе несусь по этому проклятому коридору. Да еще ему и не угодишь, медленно бегу, ему хочется, чтобы я слышала до того, как он позвонит, а как на минуточку замешкаешься, он уже беснуется. Ох, бедный мой Комбре! Не увижу тебя небось, пока не помру, пока не швырнут меня, как камень, в могилу. И не услышу я оттуда, как пахнет наш дивный белый боярышник. Но сдастся мне, что даже в могиле я буду слышать три звонка проклятой сонетки, которые мне и так уже всю жизнь отравили».

Но тут ее перебивал голос жилетника во дворе, того самого, который когда-то так понравился бабушке, когда она ходила в гости к маркизе де Вильпаризи; Франсуазе он нравился ничуть не меньше. Слыша, как наше окно распахнулось, он задирает голову и упорно пытался привлечь внимание соседки, чтобы с ней поздороваться. И тут ради г-на Жюпье́на брюзгливое лицо нашей старой кухарки, огрубевшее от прожитых лет, дурного настроения и жара плиты, озарялось кокетством юной девушки, какой была в свое время Франсуаза, и с прелестной смесью осторожности, непринужденности и целомудрия она махала рукой жилетнику дружелюбно, но молча, потому что, пренебрегая мамиными требованиями не выглядывать во двор, она все-таки не доходила до того, чтобы болтать, свесившись из окна: по мнению Франсуазы, мама бы ее за это изрядно «приструнила». Франсуаза кивала жилетнику на запряженную коляску с таким видом, будто говорила: «Недурные лошадки!», а сама бормотала: «Вот старая корова!» и знала заранее, что сейчас он приложит руку к губам наподобие рупора, чтобы она слышала его ответ вполголоса: «А у вас бы тоже были такие, если бы вы захотели, а может, и побольше, просто вы этим не интересуетесь».

И Франсуаза со скромной, уклончивой и польщенной ужимкой, означавшей: «Каждому свое, а мы люди простые», затворяла окно из опасения, как бы ее не застала мама. Эти «вы», у которых могло бы быть лошадей побольше, чем у Германтов, на самом деле были мы, но Жюпье́н был прав, говоря «у вас», потому что, не считая некоторых чисто индивидуальных утех самолюбия (например, когда на нее напал кашель и весь дом боялся заразиться от нее катаром, а она с нахальной ухмылкой утверждала, что у нее нет никакой простуды), Франсуаза была похожа на растения, живущие в тесном союзе с каким-нибудь животным, снабжающим



их пищей, которую добыло, сожрало, переварило для них и передало им в том виде, в каком они могут ее усвоить; она жила с нами в симбиозе, и на нас, со всеми нашими заслугами, состоянием, положением в обществе, лежал долг доставлять ей нехитрые радости, льстившие ее самолюбию, и вдобавок к ним бесспорное право свободно отправлять культ обеда согласно старинному обычаю, включавшему в себя и глоток свежего воздуха у окна после обеда, и неторопливые походы за покупками, и неперенные выходные, чтобы навестить племянницу, – словом, все жизненно необходимые ей удовольствия. Поэтому понятно, что первые дни на новом месте, где никому еще не ведомы были почетные титулы моего отца, Франсуаза просто погибала от хвори, которую сама она называла тоской, тоской в том властном смысле, который она приобретает у Корнеля<sup>11</sup> или в предсмертных записках солдат-самоубийц, убивающих себя потому, что слишком «тоскуют» по невесте, по родной деревне. Франсуазу от тоски живо исцелил именно Жюльен: он немедленно обеспечил ей такую же сильную радость, как если бы мы решили купить экипаж, причем даже более утонченную. «Хорошие они люди, эти Жюльены (у Франсуазы новые слова часто сливались в сознании с теми, которые она уже знала), прямо на лице у них написано». И в самом деле, Жюльен, новый друг Франсуазы, сумел сам понять и другим объяснить, что у нас нет экипажа просто потому, что мы его не хотим. Дома он бывал мало, потому что получил должность в одном министерстве. Он жил с «девчонкой», которую бабушка в свое время приняла за его дочку, и перестал шить жилеты, потому что это потеряло смысл с тех пор, как девочка, давным-давно, совсем еще малышкой, сумевшая прекрасно починить бабушке юбку, когда та пришла в гости к маркизе де Вильпаризи, занялась шитьем дамских юбок. Поначалу подручная швея у какой-то портнихи, она сметывала, подшивала оборки, пришивала пуговицы или кнопки, поправляла талию с помощью булавок, но быстро стала второй, а потом и первой мастерицей, обзавелась клиентурой из дам хорошего общества и работала теперь дома, то есть у нас во дворе, чаще всего вместе с одной-двумя подружками по ателье, превратившимися в ее подмастерьев. Теперь уже присутствие Жюльена требовалось меньше. Конечно, малышке, которая теперь выросла, часто приходилось шить и жилеты. Но с помощью подружек она справлялась. Поэтому Жюльен, ее дядя, подыскал себе место службы. Сперва его отпускали домой в полдень, а затем он окончательно заменил чиновника, которому поначалу только помогал, и стал возвращаться прямо к ужину. К счастью, его вступление в должность произошло лишь через несколько недель после нашего переезда, так что любезность Жюльена достаточно долго поддерживала Франсуазу, смягчая ее страдания в первое, самое трудное время. Впрочем, не отрицая, что для Франсуазы он оказался действенным «укрепляющим препаратом», должен признаться, что поначалу Жюльен не очень мне понравился. Если смотреть с расстояния в несколько шагов, его глаза навывкате полностью опровергали румянец на лице и толстые щеки: в их взгляде плескалось столько сочувствия, отчаяния и задумчивости, что казалось, он или очень болен, или сражен огромным горем. На самом деле ничего этого не было и в помине, а в разговоре, причем говорил он, кстати, превосходно, его голос звучал холодно и насмешливо. Из-за этого разлада между взглядом и речью было в нем что-то фальшивое, неприятное; казалось, его самого это стесняет, будто он заявился в пиджаке на прием, где все одеты во фрак, или в разговоре с высокопоставленной особой не знает толком, как к ней следует обращаться, а потому отделяется односложными ответами. Но это только для сравнения, потому что вообще-то Жюльен говорил замечательно. Я вскоре распознал за бездонностью глаз, затоплявших все его лицо (на что вы переставали обращать внимание, когда ближе с ним знакомились), необычайный ум, соединенный с таким литературным чутьем, какое мне редко приходилось встречать в жизни: скорее всего, не обладая, в сущности,

<sup>11</sup> ...тоской... у Корнеля... – Вот классический пример тоски в изображении Корнеля: Любой, в чужих руках свое блаженство видя, Способен все забыть, покорствуя обиде! И как ни велика разумность их и честь, В одном – обиды боль, в другом – тоска и мсть! («Полиевкт»). Перевод Т. Гнедич



культурой, он владел самыми изысканными языковыми оборотами или усвоил их с помощью немногих наспех проглоченных книг. Самые одаренные из знакомых мне людей умерли очень молодыми. Поэтому мне казалось, что жизнь Жюппена скоро оборвется. Была в нем доброта, участливость, безмерная деликатность, безмерное великодушие. Франсуаза скоро перестала столь остро в нем нуждаться. Она сама научилась его подменять.

Даже когда поставщик или слуга доставлял нам пакет, Франсуаза, совершенно вроде бы не обращая на него внимания, с безразличным видом кивала ему на стул, а сама продолжала заниматься своими делами, но при этом так ловко ухитрялась использовать минуты, которые он проводил на кухне в ожидании ответа от мамы, что уходил он чаще всего, насквозь проникнувшись непоколебимым убеждением, что «если у нас чего-то нет, значит мы этого не хотим». Между прочим, Франсуазе было очень важно, чтобы все знали, что у нас «водится денежка» (ей неведомо было, что одни вещественные существительные употребляются только в единственном числе, а другие только во множественном: она говорила «взять денежку» точно так, как «принести воду»), хотя богатство само по себе, богатство без добродетели вовсе не представлялось ей высшим благом, но и добродетель без богатства также не была ее идеалом. Богатство для нее было необходимым условием добродетели, без него добродетель лишалась достоинства, лишалась очарования. Франсуаза настолько слабо различала добродетель и богатство, что в конце концов наделяла первую чертами второго и наоборот: добродетель была у нее неотделима от комфорта, а в богатстве она чувала некоторую душеспасительность.

Поскорее закрыв окно – а не то мама, уверяла она, «высиплет ей по первое число», – Франсуаза принималась, вздыхая, убирать с кухонного стола.

«На улице Лашез живут еще одни Германты, – говорил лакей, – один мой друг у них работал, он там был вторым кучером. А еще один человек, не мой друг, а его шурин, служил в одном полку с конюхом барона Германтского. „В конце концов, это же не мой отец!<sup>12</sup>“» – добавлял лакей, имевший привычку не только мурлыкать себе под нос модные куплеты, но еще и уснащать свою речь свежими остротами.

Франсуаза была уже не молода, к тому же ее усталые глаза смотрели на все издали, из Комбре, словно сквозь дымку; она не понимала шуток, заключающейся в последних словах собеседника, но понимала, что он шутит, потому что эти его слова, произнесенные с нажимом, никак не связывались с темой разговора, а говоривший явно был шутником. Поэтому она одарила его благожелательной и восхищенной улыбкой, будто говоря: «Ох уж этот Виктор!» Впрочем, она была в самом деле рада, ведь она понимала, что такие остроты каким-то образом связаны с благородными удовольствиями, принятыми во всех кругах хорошего общества, куда люди ходят принарядившись и не боясь простуды. И наконец, она считала лакея своим другом, потому что он постоянно и с негодованием сообщал ей об ужасных притеснениях, которым Республика собиралась подвергнуть духовенство. Франсуаза еще не поняла, что самые безжалостные наши противники – не те, кто нам противоречит и пытается нас переубедить, а те, кто раздувает или выдумывает новости, способные повергнуть нас в отчаяние, не пытаясь их хотя бы чуть-чуть оправдать, чтобы мы, не дай бог, ни на волос не примирились с враждебными силами, которые в их рассказах предстают беспощадными и непреодолимыми, усугубляя наши муки.

«Герцогиня небось с теми-то в родне, – говорила Франсуаза, подхватывая разговор о Германтах с улицы Лашез: так в анданте возобновляется уже звучавшая тема. – Уж не помню, кто мне говорил, что один из тех выдал за герцога замуж свою кузину. В общем, это все из одной „фамильярности“. Германты – великая семья!» – уважительно добавляла она, основывая это

<sup>12</sup> ...это же не мой отец... – Аллюзия на знаменитую в то время реплику из пьесы Ж. Фейдо «Дама от „Максима“» (1899): «Полноте, это же не мой отец». В контексте пьесы она означает что-то вроде: «В этом нет ничего зазорного», но персонажи «Поисков» (например, Блок в «Под сенью дев...») цитируют ее без особого смысла.



величие одновременно и на ее многочисленности, и на блестящей славе, как Паскаль основывал истинность Религии и на Разуме, и на авторитете Писания<sup>13</sup>. Поскольку для обоих этих понятий она располагала только одним словом, ей казалось, что оба они сводятся к одному и тому же: ее словарный запас был как драгоценный камень с изъянами, не пропускавшими свет, – из-за этого и в мыслях у нее оставались темные места.

«Я все думаю, не „ихний“ ли это замок в Германте, в десяти лье от Комбре, – тогда выходит, что они в родстве и с их кузиной в Алжире». Мы с мамой долго ломали себе голову над тем, что же это за кузина в Алжире, пока наконец не сообразили, что под Алжиром Франсуаза подразумевала город Анжер. Иногда то, что далеко, известно нам лучше, чем то, что рядом. Франсуаза знала про Алжир из-за ужасных фиников, которые нам дарили на Новый год, а про Анжер понятия не имела. Ее язык, как весь французский язык вообще, а особенно топонимика, был усеян ошибками. «Я хотела об этом поговорить с их метрдетелем...» – И тут она сама себя перебивала, задумавшись над тонкостями этикета: «Как же это ему говорят-то?» – а затем сама же себе отвечала: «Ах да, Антуан, вот как ему говорят», – как будто имя Антуан было титулом. «Вот он бы мог нам все сказать, но он такой важный господин, уж такой зануда, можно подумать, ему язык отрезали или вообще говорить не научили. С ним говоришь, а он даже не дает ответа», – добавляла Франсуаза, говорившая «давать ответ» точь-в-точь как мадам де Севинье<sup>14</sup>. «Но, – неискренне добавляла она, – знай свое дело, а в чужие не суйся. И все равно так себя вести нечестно. И потом, не очень-то он ретивый (судя по этой оценке, можно было вообразить, что взгляды Франсуазы изменились, ведь когда-то в Комбре она говорила, что доблесть превращает мужчин в диких зверей, но на самом деле ничего подобного: в ее устах ретивый означало трудолюбивый). И говорят, что он вороватый как сорока, хотя сплетням не всегда можно верить. Здесь все служащие ходят через швейцарскую, а швейцары завидуют и наговаривают герцогине. Но что да, то да: этот Антуан настоящий лодырь, и его Антуанисса такая же», – добавляла Франсуаза; чтобы обозначить жену метрдетеля, ей нужно было образовать женский род от имени Антуан, и она, видимо, бессознательно опиралась в своих грамматических построениях на слова каноник и канонисса. И была не так уж неправа. До сих пор неподалеку от собора Парижской Богоматери есть улица Канонисс – это имя (поскольку там жили только каноники) придумали французы былых времен, а Франсуаза, в сущности, была их современницей. Впрочем, тут же она предлагала новый способ словообразования, добавляя:

– А замок Германт принадлежит нашей герцогине, это ясно как божий день. Она в том краю хозяйка и градоначальственная дама. Это вам не что-нибудь.

– Понимаю, что не что-нибудь, – убежденно откликнулся лакей, не чувствуя в ее словах иронии.

– Ты, что ль, и впрямь думаешь, паренек, что это что-то этакое? Да для таких, как они, градоначальство вообще ничего не значит. Эх, если бы у меня был замок Германт, я бы в Париж нечасто наезжала. И о чем только думают хозяева, да вот хоть наши месье и мадам, им же на всё хватает: сидят себе в этом ужасном городе, а нет бы собраться да и поехать в Комбре, когда время есть, никто же их не держит. Ушли бы себе на покой, и чего они ждут? Пока помрут, что ли? Эх, была бы у меня краюха сухого хлеба пропитаться да немного дров обогреться зимой, давным бы давно я уехала в Комбре, в домишко моего брата. Там хотя бы настоящая жизнь, и все эти дома перед глазами не торчат, а тихо так, что ночью слышно, как поют лягушки за два лье с лишком.

<sup>13</sup> ...как Паскаль основывал истинность Религии и на Разуме, и на авторитете Писания. – Блез Паскаль (1623–1662) – французский ученый и писатель, автор «Мыслей» – труда, в котором он дает обоснование вере в Бога.

<sup>14</sup> ...как мадам де Севинье. – Мадам де Севинье (1626–1696) – французская писательница, автор «Писем», которые стали признанной вершиной эпистолярного жанра во французской литературе; еще в первом томе «Поисков» мы узнаем, что это любимое чтение бабушки и матери рассказчика. В письмах дочери мадам де Севинье часто употребляет это выражение, например: «Спешу дать ответ на ваше милое письмо» (от 27 марта 1671).



– Как это, наверно, прекрасно, – восхищенно восклицал лакей, словно этот последний штрих был так же неотъемлем от Комбре, как гондолы от Венеции.

Между прочим, лакей появился в доме позже камердинера и говорил с Франсуазой о том, что было интересно ей, а не ему. Франсуаза не любила, когда ее считали кухаркой, а лакей неизменно именовал ее «экономкой», и она платила ему особой благосклонностью, какую питает принц из захудалого рода к благонамеренным молодым людям, величающим его «высочеством».

– Там хотя бы знаешь, что делаешь и какое время года на дворе. Не то что здесь – ни одного тебе лютика не найти на Пасху, все равно как на Рождество, ни тебе колокол не звякнет на колокольне, когда я поутру разгибаю мою старую спину. Там слышно, как бьет каждый час, и пускай это просто наш бедный колокол, но ты себе говоришь: «А вот и мой брат с поля домой идет», видишь, как день клонится к вечеру, звонят на молебен об урожае, и ты успеешь домой вернуться до того, как пора свет зажигать. А здесь хоть тебе день, хоть тебе ночь, идешь спать, а сама не понимаешь, как день провела, как скотина какая.

– Говорят, что в Мезеглизе тоже очень славно, – перебил лакей; на его вкус разговор принимал немного слишком абстрактный оборот, и потом ему случайно запомнилось, что за столом мы говорили о Мезеглизе.

– Ах, Мезеглиз, – подхватывала Франсуаза с лучезарной улыбкой, расцветавшей у нее на лице всякий раз, когда звучали имена Мезеглиз, Комбре, Тансонвиль. Они настолько были частью ее собственной жизни, что всякий раз, когда она встречалась с ними во внешнем мире, слышала в разговоре, ее охватывала та же радость, какую испытывают школьники в классе, когда преподаватель намекнет на какого-нибудь современника, о котором они ни за что бы не подумали, что его имя прозвучит с кафедры. А еще она радовалась потому, что для нее эти места были совсем не то, что для других: это были старые друзья, с которыми было связано много приятного, и она улыбалась им, будто наслаждаясь их остроумием, и чувствовала, что неразлучима с ними.

– Да, сынок, верно ты говоришь, в Мезеглизе очень даже славно, – отвечала она с тонкой улыбкой, – но ты-то откуда слыхал про Мезеглиз?

– Откуда я про Мезеглиз слыхал? Да кто же его не знает; мне о нем бесперечь толковали, много-много раз, – отвечал он с преступной неточностью, свойственной многим осведомителям, которые утаивают от нас истинное положение вещей каждый раз, когда мы хотим получить у них объективные сведения о том, насколько важно для других людей то, что нас касается.

– Ах, уж вы мне поверьте, там под вишнями лучше, чем тут у плиты.

В ее рассказах даже Элали превращалась в прекрасную женщину. С тех пор как она умерла, Франсуаза совершенно забыла, что не слишком-то ее жаловала при жизни, как не жаловала всех, у кого дома не было еды, кто «помирал с голоду», а потом, как последнее ничтожество, начинал «кривляться» благодаря доброхотным даяниям богачей. Она уже не страдала оттого, что Элали каждую неделю «выманивала денежку» у моей тети. А тете Франсуаза неустанно пела похвалы.

– Так вы тогда жили прямо в Комбре, у кухни вашей хозяйки? – спрашивал юный лакей.

– Да, у нее, у дорогой госпожи Октав, ах, святая она была женщина, дети мои, и все-то у нее всегда было по-доброму, по-хорошему, славная женщина, уж вы мне поверьте, не отказывала людям ни в куропаточках, ни в фазанах, ни в чем, приходите обедать хоть впятером, хоть вшестером, и мяса было вдоволь, да какого отменного, и белого вина, и красного вина, все как полагается. (Франсуаза употребляла глагол «отказывать» в том же значении, что Лабрюйер<sup>15</sup>.)

---

<sup>15</sup> Жан де Лабрюйер (1645–1696) – французский писатель-моралист. Приводим пример словоупотребления, о котором говорит Пруст: «...подобно молодому человеку, взявшему в жены богатую старуху, он не отказывает себе в самых дорогих нарядах» (перевод Э. Ю. Линецкой и Ю. Б. Корнеева).



И всегда брала на себя все издержки, даже если родные при ней жили хоть месяцы, хоть годы. (Ничего худого Франсуаза о нас не хотела этим сказать, и слово «издержки» в ее устах не имело юридического смысла, а значило просто «расходы».) Ах, уж вы мне поверьте, никто оттуда не уходил голодным. Господин кюре частенько твердил, что уж кто-кто, а она наверняка войдет в Царствие Небесное. Эх, я как сейчас слышу, как бедняжка госпожа Октав говорит таким тоненьким голоском: «Франсуаза, вы знаете, я сама-то не ем, но хочу, чтобы готовили на всех как следует, как будто для меня». Хотя это, конечно, было не для нее. Посмотрели бы вы на нее, она весила не больше, чем кулек с вишнями, просто как тень. Меня не слушала, к доктору идти не хотела. Да уж, у нее, когда ели, от спешки не давились. Она хотела, чтобы слуг кормили как следует. А здесь да вот хоть сегодня утром – еле успели заморить червячка. Все делается в спешке.

Особенно ее раздражал подсушенный хлеб, который ел мой отец. Она была убеждена, что все это «фокусы», придуманные, чтобы заставить ее «поплясать». «В жизни такого не видел», – поддакивал юный лакей. Можно подумать, он перевидал все на свете и впитал тысячелетнюю мудрость всех стран на свете со всеми их обычаями, среди которых отсутствовал обычай питаться подсушенным хлебом. «Да, да, – ворчал дворецкий, – но все это может измениться, в Канаде рабочие вот-вот начнут бастовать, а министр на днях сказал нашему хозяину, что ему за это заплатили двести тысяч франков». Причем дворецкий ничуть не осуждал министра, и не потому что сам он был не вполне честен, а просто считал, что политики все продажны, а взяточничество считал грехом менее тяжким, чем самая пустячная кража. Ему даже в голову не пришло усомниться, хорошо ли он расслышал эти исторические слова; он не задался вопросом, возможно ли, чтобы взяточник сам рассказал об этом моему отцу, а отец не выставил его за дверь. Но философия Комбре, которую исповедовала Франсуаза, не допускала, чтобы канадские забастовки влияли на потребление подсушенного хлеба. «Можете мне поверить, – говорила она, – так уж все на свете устроено, что господа всегда нас будут гонять, а слуги всегда будут исполнять их капризы». Вопреки этой теории вечной гонки моя мама, видимо, подсчитывала время, которое у Франсуазы уходило на обед, по какой-то другой системе мер, отличавшейся от Франсуазиной, и вот уже четверть часа удивлялась: «Да чем же они там заняты, они уже больше двух часов сидят за столом». И три или четыре раза робко дергала сонетку. Франсуаза, лакей, дворецкий даже не думали спешить на зов; они воспринимали эти звонки не как приказ, а как первые звуки инструментов, когда оркестранты настраивают их перед началом концерта и мы чувствуем, что через несколько минут антракт закончится. А когда звонки начинали повторяться и становились настойчивей, наши слуги мало-помалу обращали на них внимание и понимали, что свободного времени осталось мало и скоро надо будет опять приниматься за работу; тут они вздыхали, и, набравшись решимости, лакей шел вниз выкурить папиросу перед входной дверью, Франсуаза, отпустив на наш счет несколько замечаний в духе «опять им нейдет», поднималась к себе на седьмой этаж прибраться, а дворецкий, заглянув ко мне в комнату за почтовой бумагой, поспешно отправлял свою личную корреспонденцию.

Хотя дворецкий Германтов держался надменно, Франсуаза в первые же дни сообщила мне, что Германты живут в своем особняке не потому, что владеют им с незапамятных времен, а на правах жильцов, снявших его сравнительно недавно; сад, куда выходили их окна с той стороны, которой я не видел, был невелик и похож на все соседние сады; и наконец, я узнал, что в этом саду нет ни исторической виселицы, ни обнесенной крепостными стенами мельницы, ни рыбного садка, ни голубятни с колоннами, ни общинной пекарни, ни величественного амбара, ни скромного укрепленного замка, ни мостов, обычных, или подъемных, или даже перекидных, а также нет дорожных пошлин, шпилей, настенных хартий и придорожных распятий. Но я помнил, что раньше, когда Бальбекская бухта утратила свою тайну и превратилась для меня просто в один из участков соленой воды, ничем не лучше любого другого, обтекающего



сушу, Эльстир мигом вернул ей неповторимость, как только объяснил мне, что это опаловый залив Уистлера<sup>16</sup> из его гармонии в голубом и серебряном; так и теперь: под ударами Франсуазы рухнули одно за другим все величественные строения, порожденные именем Германт, но тут какой-то старый друг отца сказал в разговоре о герцогине: «В Сен-Жерменском предместье у нее совершенно исключительное положение, ее дом – самый блестящий в Сен-Жерменском предместье». Вероятно, самый блестящий салон, самый блестящий дом – все это было ничтожно по сравнению с теми постройками, которые одну за другой возводило мое воображение. Но и в этих новых понятиях было в конце концов нечто, пускай неприметное, никак не связанное с материалом, из которого они были сделаны, а все же таинственным образом отличавшее их от всего остального.

Мне было необходимо каким-то образом исхитриться и отыскать тайну герцогини Германтской в ее «салоне», в ее друзьях – тем более что, глядя, как она утром выходит на прогулку или днем садится в карету, я ничего такого в ней не находил. Конечно, уже когда я впервые видел ее в комбрейской церкви, меня как громом поразила постигшая ее метаморфоза: цвет ее щек нисколько не отражал ни цвета имени Германт, ни вечеров на берегу Вивонны, ничем их не напоминал – она была словно божество, превращенное в лебедя, или нимфа, превращенная в иву, и вот уже, покорствуя законам природы, лебедь скользит по воде, а ива гнется на ветру, развеивая в прах мои мечты. Отблески рассеивались, но стоило мне потерять ее из виду, как они возникали вновь, как розовые и зеленые отблески заката позади разбившего их весла, и, повинаясь моей одинокой мысли, имя мгновенно подчиняло себе память о лице. Но теперь я часто видел ее в окне, во дворе, на улице, и если мне не удавалось осенить ее именем Германт, осознать, что она – герцогиня Германтская, я винил в этом свой ум, неспособный додумать до конца мысль, которой я от него требовал; но и она, наша соседка, впадала, кажется, в тот же грех; и хуже того, это ее как будто совсем не смущало, ей не было совестно, она даже не догадывалась о своем заблуждении. Например, она, герцогиня Германтская, заботилась о том, чтобы платья ее не отставали от моды, словно воображала себя обыкновенной женщиной, такой как все, и стремилась к той элегантности, в которой любая другая могла с ней сравниться и даже, возможно, ее перещеголять; я видел, как на улице она с восторгом смотрит на какую-то нарядную актрису, а по утрам, когда она собиралась на прогулку, можно было подумать, что ее страшит суд прохожих, чья вульгарность на самом деле только сильнее бросалась в глаза, пока мимо них как ни в чем не бывало скользила ее недостижимая жизнь: я наблюдал, как она серьезно, без тени легкомыслия, без малейшей иронии, страстно, самолюбиво, недобро, словно королева, согласившаяся изображать субретку в комедии, которую ставят во дворце, разыгрывает перед зеркалом столь недостойную ее роль элегантной дамы: в мифологическом забвении своего изначального величия она проверяла, хорошо ли натянута вуалетка, разглаживала рукава, поправляла мантию, точь-в-точь божественный лебедь, когда он встряхивается по-птичьи и, не поведя глазами, словно нарисованными по обе стороны клюва, вдруг набрасывается не глядя на пуговку или зонтик, забывая о своей божественной природе. Я был как путешественник, который, испытав разочарование при первом взгляде на город, говорит себе, что, возможно, проникнется его прелестью, если осмотрит музеи, познакомится с местными жителями, поработает в библиотеках: я говорил себе, что, если бы меня принимали у герцогини Германтской, если бы я вошел в число ее друзей, проник в ее жизнь, я бы понял, что кроется в ее имени под сверкающей, оранжевой оболочкой, что там таится на самом деле, объ-

<sup>16</sup> Джеймс Уистлер (1834–1903) – американский художник, предшественник импрессионизма и символизма; многим своим работам он давал музыкальные названия – гармония, аранжировка, ноктюрн. Возможно, Эльстир ссылается на картину «Опаловый залив, гармония в голубом и серебряном» (1871). Но скорее всего, Пруст, который видел картины художника на выставке Уистлера в Париже в 1905 г., в том числе «Гармонию в голубом и серебряном, Этрета» (1897) и «Опаловые сумерки: Трувиль» (1865), по своему обыкновению, сплавил несколько картин в одну.



ективно, видимое другим людям, ведь не зря же друг моего отца говорил, что круг Германтов даже в Сен-Жерменском предместье находится на особом положении.

Я подозревал, что там ведут жизнь, далекую от опыта, происходящую из совсем другого источника; она представлялась мне настолько особенной, что на вечерах у герцогини, по моим представлениям, просто не могли быть реальные люди, те, с которыми я когда-то водил знакомство. Ведь не могла же природа этих людей вдруг полностью перемениться, а значит, они говорили бы у Германтов примерно то же, что и я от них слышал; но в таком случае их собеседникам пришлось бы снизойти до того, чтобы отвечать им на том же человеческом языке, и на вечере в самом блестящем салоне Сен-Жерменского предместья в какие-то мгновенья происходило бы то же самое, что я уже переживал, – а это было невозможно. Надо признать, что с некоторыми трудностями мой ум не в силах был справиться, и присутствие Тела Христова в гостии представлялось мне не более таинственным, чем этот самый блестящий салон предместья, раскинувшегося на правом берегу, даром что по утрам из моей спальни слышно было, как там выбивают диваны и кресла. Но хотя демаркационная линия, отделявшая меня от Сен-Жерменского предместья, была чисто условной, от этого она казалась мне еще реальнее; я чувствовал, что даже коврик перед входом Германтов, о котором моя мама однажды, заметив его, когда дверь была открыта, посмела сказать, что он совсем истрепался, располагался уже в Сен-Жерменском предместье, по ту сторону таинственного экватора. Да и, в сущности, когда я время от времени замечал из окна нашей кухни их столовую и сумрачную галерею, где мебель была обита красным плюшем, все эти стулья, и кресла, и диваны просто не могло не осенять таинственное очарование Сен-Жерменского предместья, они были неотъемлемы от него, географически в нем расположены, – ведь если вас допускали в эту столовую, значит, вы оказывались в Сен-Жерменском предместье, дышали его атмосферой, потому что все те, кто перед трапезой располагался рядом с герцогиней Германтской на кожаном канapé в галерее, обитали в Сен-Жерменском предместье. Вероятно, не только в предместье, но и на других приемах, среди вульгарного сборища франтов, время от времени царил по вечерам один из этих людей, которые, в сущности, не люди, а имена, так что, когда пытаешься их себе представить, перед глазами встает то рыцарский турнир, то королевский лес. Но здесь, в самом блестящем салоне Сен-Жерменского предместья, в сумрачной галерее, бывали только они. Это были колонны из драгоценного матерьяла, колонны, которыми держался храм. Даже когда собиралась только семья, герцогиня Германтская могла выбирать гостей только из их числа, и на обедах на двенадцать персон за накрытым столом они были словно золотые статуи апостолов из Сент-Шапель, столпы и символы святости вокруг алтаря. Когда герцогиня Германтская распоряжалась после обеда подавать ликеры и оранжад в уголке сада за высокой каменной оградой, позади особняка, я никак не мог отделаться от мысли, что если посидишь с девяти до одиннадцати вечера на железных стульях, наделенных такой же магической силой, что и кожаное канapé, то тебя неизбежно овевает ветерок Сен-Жерменского предместья, иначе просто быть не может, все равно как если приляжешь отдохнуть днем в оазисе Фигиг<sup>17</sup>, значит, ты в Африке и нигде больше. Выделить среди прочих какие-то предметы, каких-то людей и создать атмосферу могут только воображение или вера. Увы, как видно, никогда в жизни не ступить моей ногой туда, где таятся живописные уголки, утесы и обрывы, местные достопримечательности и сокровища искусства Сен-Жерменского предместья. Оставалось только трепетать, проплывая мимо в открытом море и замечая, будто купол дальнего минарета, или верхушку пальмы, или контуры мануфактуры, или подступы к экзотическому лесу (без малейшей надежды когда-нибудь к ним пристать), потрепанный коврик заветного берега.

Но если особняк Германтов начинался для меня с входной двери, то относившаяся к нему территория простиралась, по мнению герцога, намного дальше: всех жильцов он, по-

<sup>17</sup> ...в оазисе Фигиг... – Фигиг – оазис в Марокканской Сахаре, где в 1903 г. происходило наступление французской армии.



видимому, представлял себе фермерами, мужланами, стяжателями национального имущества, с которыми нечего считаться, и их мнение было ему безразлично: утром он брился у окна в ночной рубашке, а во двор спускался, смотря по погоде, в одной сорочке, в пижаме, в ворсистом шотландском пиджаке неопишемого цвета, в каком-нибудь коротком светлом пальтишке, из-под которого торчал пиджак, и смотрел, как конюх гоняет перед ним рысью недавно купленную лошадь. Эти лошади не раз ломали витрину у Жюпье, и тот, к негодованию герцога, обращался к нему за возмещением убытков. «Зная, сколько добра творит герцогиня во всем доме и в приходе, – говорил герцог, – какая низость со стороны этого проходимца требовать у нас чего бы то ни было». Но Жюпье держался стойко и, казалось, знать не знал, какое такое «добро» творит герцогиня. А между тем она делала много хорошего, но ведь нельзя благодетельствовать всем подряд, поэтому память о том, как осчастливишь кого-то одного, служит предлогом, чтобы обойти кого-то другого, отчего этому другому будет еще обиднее. Впрочем, не только в смысле благотворительности, а и в других отношениях наш квартал (и вся округа, простиравшаяся в разные стороны на дальние расстояния) представлялся герцогу продолжением его двора, длинной беговой дорожкой для его лошадей. Поглядев, как новая лошадь скачет сама по себе, он велел запрягать и прогонять ее по всем соседним улицам, а конюх бежал рядом с каретой, держа в руках вожжи и заставляя ее носиться взад и вперед мимо герцога, который высился на тротуаре, огромный, в светлых своих одеяниях, – во рту сигара, голова задрана вверх, любопытный монокль следит за животным – а потом наконец вскакивал в экипаж и, правя лошадью сам, чтобы ее испытать, отправлялся на Елисейские Поля на свидание с любовницей. Во дворе герцог Германтский здоровался с двумя супружескими парами, принадлежавшими отчасти к его миру; с одной из этих пар он был в родстве; они, подобно семьям рабочих, никогда не сидели дома и не нянчили детей, потому что жена по утрам отправлялась в «Скола канторум»<sup>18</sup> изучать контрапункт и фугу, а муж к себе в ателье, заниматься резьбой по дереву и тиснением по коже; другой парой были барон и баронесса де Норпуа, всегда одетые в черное, отчего жена была похожа на женщину, выдающую стулья напрокат в парке, а муж на гробовщика; эти по несколько раз в день ходили в церковь. Они доводились племянниками нашему знакомому бывшему посланнику; отец даже встретил его как-то раз на лестнице, но не понял, откуда он вышел: отец полагал, что такой уважаемый человек, связанный узами дружбы с выдающимися умами Европы и, вероятно, вполне равнодушный к суетным аристократическим притязаниям, никак не мог поддерживать отношения с этими никому не известными и ограниченными высокородными святошами. В доме они жили недавно; как-то раз Жюпье во дворе подошел что-то сказать барону, который как раз раскланивался с герцогом Германтским, и по незнанию назвал его «господином Норпуа».

– Ах, господин Норпуа, нет, это воистину перл! Погодите, скоро этот субъект станет именовать вас «гражданином Норпуа»! – воскликнул, обернувшись к барону, герцог Германтский. Наконец-то он получил возможность выплеснуть раздражение на Жюпье, обращавшегося к нему «господин», а не «ваша светлость».

Однажды герцогу Германтскому понадобилось узнать у моего отца что-то связанное с его профессией, и он с изысканной учтивостью заглянул к нам собственной персоной. В дальнейшем он часто обращался к отцу по-соседски с просьбами, и бывало, чуть герцог увидит, как отец спускается по лестнице, обдумывая какую-нибудь работу и мечтая избежать любой встречи, он тут же бросает своих конюхов, останавливает отца во дворе, расправляет ему воротник пальто с обходительностью, унаследованной от королевских прислужников былых времен, берет его за руку, и, удерживая ее в своей и даже поглаживая, как бы доказывая с придворным

<sup>18</sup> ...жена по утрам отправлялась в «Скола канторум»... – Основанное в 1894 г., поначалу это было общество религиозной музыки, посвященное изучению музыкальных форм прошлого, которое затем, в 1896 г., превратилось в престижную консерваторию, где, в частности, учились Артюр Онеггер, Эрик Сати, Эдгар Варез.



бесстыдством, что прикосновение к его драгоценной коже отцу не возбраняется, вцепляется в отца, сильно раздосадованного и мечтающего, как бы ускользнуть, и провожает его за самые ворота. Однажды, когда они с женой выходили из экипажа, он любезнейшим образом с нами раскланялся; вероятно, он сказал ей, как меня зовут, но разве можно было надеяться, что она запомнит меня по имени или в лицо? Да и что за убогая участь, когда тебя отрекомендовали всего-навсего одним из жильцов! Куда пристойней было бы повстречаться с герцогиней у госпожи де Вильпаризи, которая как раз передала мне через бабушку приглашение и даже, зная, что я намерен заниматься литературой, добавила, что у нее я познакомлюсь с писателями. Но отец считал, что я слишком молод для светских визитов, а кроме того, постоянно беспокоился о моем здоровье и совсем не хотел, чтобы у меня появлялись новые поводы для уходов из дому.

Один из выездных лакеев герцогини Германтской часто беседовал с Франсуазой, и я слышал, как он перечисляет кое-какие салоны, где бывала герцогиня, но не представлял их себе: ведь они принадлежали той части ее жизни, которая виделась мне в ореоле ее имени, – разве в моих силах было их вообразить?

– Сегодня вечером у принцессы Пармской большой вечер с театром теней, – говорил лакей, – но мы туда не едем, потому что в пять часов у госпожи герцогини поезд в Шантийи: она едет на два дня в гости к герцогу Омальскому и берет с собой горничную и камердинера. А я остаюсь. Принцесса Пармская будет недовольна, она уже прислала госпоже герцогине писем пять, не меньше.

– А в замок Германт вы в этом году уже не поедете?

– Впервые не поедет: у господина герцога ревматизм и доктор запретил туда переезжать, пока не установят калорифер, а раньше мы там жили каждый год до самого января. Если калорифер не будет готов, может быть, госпожа герцогиня поедет на несколько дней в Канны погостить у герцогини де Гиз, но это еще не точно.

– А в театр вы ездите?

– Иногда ездим в оперу, по дням, на которые у принцессы Пармской абонемент, это раз в неделю бывает; говорят, там очень роскошно, там тебе и пьесы, и опера, все что хочешь. Госпожа герцогиня не захотела брать абонемент, но мы все равно туда ездим, то в ложу к одной подруге, то к другой, а то еще в бенуар принцессы Германтской, жены кузена господина герцога. Она сестра герцога Баварского.

– А вы, значит, карабкаетесь к себе наверх, – говорил выездной лакей, который, даром что отождествлял себя с Германтами, о всех вообще хозяевах рассуждал с большим тактом, а потому обращался к Франсуазе с таким же уважением, как если бы она служила у какой-нибудь там герцогини. – Крепкое у вас здоровье, сударыня.

– Ох, кабы не проклятые ноги! По ровной дорожке еще туда-сюда (по ровной дорожке означало во дворе или на улице, где Франсуаза с удовольствием прогуливалась, короче, по ровной поверхности), но вот по этим чертовым лестницам! До свидания, сударь. Вечером увидимся.

Особенно ей нравилось болтать с выездным лакеем с тех пор, как он объяснил ей, что сыновья герцога часто носят титул принцев, который остается за ними до смерти их отца. Вероятно, культ знати так живуч во французском народе, потому что, смешиваясь с духом мятежа и накладываясь на него, он уходит корнями прямо во французскую почву. Вот и Франсуазе вы могли сколько угодно толковать о гении Наполеона или о беспроволочном телеграфе – она и внимания не обращала и не замедляла движений, которыми очищала от золы камин или накрывала на стол, но стоило ей услышать подробности из жизни знати, например что младший сын герцога Германтского именуется по обычаю принцем Олеронским, и она ахала: «Как красиво», застывая в восхищении, словно перед витражом.



А от камердинера принца Агриджентского, с которым она познакомилась, поскольку он часто приносил герцогине письма, Франсуаза узнала, что в обществе ходят упорные слухи о браке маркиза де Сен-Лу с мадмуазель д'Амбрезак и это уже почти дело решенное.

Жизнь герцогини Германтской перетекала то в виллу, то в бенуар, и они казались мне такими же волшебными местами, как ее апартаменты. Курорты, куда ездила герцогиня, ежедневные праздники, связанные с ее особняком колями, остававшимися от колес ее экипажа, отличались от всех прочих именами де Гизов, Парма, Германтов-Баварских. Эти имена говорили мне, что жизнь герцогини состоит из сменяющих друг друга курортов и праздников, но ничего не объясняли о ней самой. Каждый курорт, каждый праздник толковал ее жизнь по-своему, но тайны не рассеивал, а только видоизменял ее, и жизнь герцогини просто переносилась с места на место, защищенная переборками, заключенная в сосуд, откуда вокруг бушевали волны всеобщего существования. Герцогиня могла обедать на Средиземном море в дни карнавала – но не где-нибудь, а на вилле госпожи де Гиз, и там она, царица парижского света в белом пикейном платье, казалась среди множества принцесс такой же гостьей, как все, а потому волновала меня еще сильнее, еще виднее было, что это именно она, и всякий раз она выглядела по-новому, словно прима-балерина, когда она, повинаясь прихотливой хореографии, по очереди меняется местами с сестрами-балеринами; она могла смотреть театр теней, но не где-нибудь, а на вечере у принцессы Пармской, слушать трагедию или оперу, но в бенуаре принцессы Германтской.

В телесном облике человека заключено для нас все, что может с ним произойти в жизни, живет память о тех, с кем он знаком, или недавно расстался, или скоро увидится; поэтому, когда, узнав от Франсуазы, что герцогиня Германтская пойдет пешком обедать к принцессе Пармской, я видел, как ближе к полудню она спускается из своей квартиры в светлом атласном платье, над которым ее лицо раздвинулось тем же алым оттенком, что закат солнца, – передо мной возникали все радости Сен-Жерменского предместья, сгустившиеся в ее фигурке, словно в раковине, между двумя льдистыми створками розового перламутра.

У отца был в министерстве друг, некий А. Ж. Моро; чтобы отличаться от других Моро, он, подписываясь, всегда ставил перед фамилией эти свои инициалы, так что его для краткости называли А. Ж. Уж не знаю каким образом этот самый А. Ж. обзавелся билетом на гала-представление в Опере и послал его моему отцу; в этом спектакле должна была играть сцену из «Федры» Берма, которую я не видел с того моего первого разочарования, и бабушка упростила отца, чтобы он уступил билет мне. Правду сказать, я не слишком-то стремился послушать Берма, хотя за несколько лет до того мысль о ней так меня возбуждала. И я не без меланхолии заметил в себе это равнодушие к тому, что раньше было мне нужнее здоровья, нужнее покоя. Не то чтобы остыла во мне жажда рассмотреть поближе драгоценные частички реальности, смутно угаданные моим воображением. Но оно уже не связывало эти частички с декламацией великой актрисы; с тех пор, как я побывал у Эльстира, та внутренняя вера, с которой я относился к ее игре, к трагическому искусству Берма, устремилась к шпалерам, к современным картинам; я уже не преклонялся с тою же неизменной верой, с тою же постоянной страстью перед великой актрисой, ее манерой произносить слова роли, ее позами, и их «двойники» в моем сердце мало-помалу погибли, как погибали «двойники» покойников в Древнем Египте, которые требовалось непрестанно питать, чтобы из них не утекла жизнь<sup>19</sup>. Само ее искусство поблекло и захирело. В его недрах больше не обитала душа.

Когда с билетом, подаренным отцу, я поднимался по большой лестнице Оперы, я заметил человека, которого принял поначалу за г-на де Шарлюса, обладавшего похожей осанкой;

<sup>19</sup> ...как погибали «двойники» покойников... чтобы из них не утекла жизнь. – В Древнем Египте верили, что сохранность тела необходима для сохранности души. Душа считалась «двойником» человека. Поэтому тела бальзамировали, а кроме того, покойным приносили еду и разные нужные вещи, чтобы души, изголодавшись, не вселялись в живых и не изнуряли их болезнью, приводившей к смерти.



он обернулся, спрашивая о чем-то у театрального служителя, и я понял, что ошибся, хотя ясно было, что незнакомец принадлежит к тому же общественному классу, что и г-н де Шарлюс, судя не только по тому, как он одет, но и по манере говорить с контролером и капельдинерами, из-за которых ему пришлось задержаться. Дело в том, что в ту эпоху несмотря на индивидуальные черты людей сохранялась заметная разница между богатым щеголем из высшей аристократии и любым богатым щеголем из мира финансов или крупной промышленности. Эти последние утверждали свой светский лоск тем, что говорили с нижестоящими резко и высокомерно, а знатный вельможа – кротко, с улыбкой, с преувеличенным смирением и терпением, притворяясь, что он обыкновенный зритель, словно считал это привилегией своего отменного воспитания. Возможно, видя его благодущную улыбку, призванную скрыть непреодолимую границу особого мирка, заключенного у него внутри, какой-нибудь сыночек богатого банкира, входивший в этот миг в театр, принял бы этого важного вельможу за ничтожного человечка, если бы не разительное сходство с недавно опубликованным всеми иллюстрированными газетами портретом, изображавшим принца Саксонского, племянника австрийского императора, находившегося в этот момент в Париже. Я знал, что он в большой дружбе с Германтами. Подойдя ближе, я услышал, как предполагаемый принц Саксонский, улыбаясь, говорит: «Номера ложи я не знаю, ее кузина сказала, что мне достаточно спросить, где ее ложа».

Вероятно, это и был принц Саксонский; вероятно, перед его мысленным взором, пока он произносил слова «ее кузина сказала, что мне достаточно спросить, где ее ложа», витала герцогиня Германтская (чья невообразимая жизнь могла, стало быть, приоткрыться мне на миг, когда я увижу ее в бенуаре кузины), и его особенный, дружелюбный взгляд и эти простые слова куда больше абстрактных мечтаний ласкали мне сердце, попеременно касаясь его то лучами возможного счастья, то лучами неверного очарования. Во всяком случае, произнося эту фразу, он из рядового вечера моей обыденной жизни пролагал мне возможный путь в новый мир; упомянув слово «бенуар», ему указали коридор, сырой и исчерченный трещинками; казалось, он вел в морские гроты, в мифологическое царство наяда. Передо мной был просто господин во фраке, удалявшийся по коридору; но я, словно неумело наводя на него зеркальцем солнечный зайчик, безуспешно пытался совместить с ним мысль, что передо мной принц Саксонский и что он идет к герцогине Германтской. И хотя он был один, эта мысль, посторонняя, неосознанная, огромная, передвигающаяся скачками, как световое пятно, словно летела впереди и вела его, как богиня, невидимая для остальных людей, направляющая греческого воина.

Я отыскал свое место, пытаюсь точно припомнить подзабытый стих из «Федры». Когда я его декламировал про себя, в нем выходило неправильное число стоп, но, поскольку я не пытался их сосчитать, мне казалось, что он своей расхлябанностью вообще не напоминает классический стих. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что для того, чтобы эту чудовищную фразу превратить в двенадцатисложник, нужно вычеркнуть из нее шесть слогов или даже больше. Но вдруг стих вспомнился мне, непоправимые шероховатости бесчеловечного мира исчезли, как по волшебству; слоги мгновенно улеглись в размер александрийской строки, все излишнее отделилось легко и упруго, как воздушный пузырек, лопающийся на поверхности воды. И чудовищная несообразность, над которой я бился, оказалась на самом деле одной-единственной стопой.

Сколько-то мест в партере поступали в кассу, их раскупали снобы и любопытные, жаждавшие увидеть вблизи людей, которых они нигде больше не могли бы рассмотреть. И в самом деле, здесь приоткрывался на всеобщее обозрение краешек подлинной светской жизни этих людей, обычно скрытой от глаз: принцесса Пармская сама распределила между своими друзьями ложи, балконы и бенуары, и зала была словно салон, где каждый переходил с места на место, садился то здесь, то там, поближе к какой-нибудь знакомой даме.

Рядом со мной оказались вульгарные люди, которые не были знакомы с держателями абонементов, но хотели показать, что способны их узнать, и вслух называли их по имени. Они



рассуждали о том, что обладатели абонементов приходят сюда, как к себе в салон, намекая, что они не обращают внимания на спектакль. Но на самом деле все было наоборот. Какой-нибудь высокоодаренный студент, купивший билет в партер, чтобы послушать Берма, думает только, как бы не запачкать перчатки, не побеспокоить никого, поладить со случайным соседом, улыбнуться в ответ на каждый скользнувший по нему взгляд, отвернуться с нелюбезным видом, случайно встретившись глазами с знакомым, которого заметил в зале, а потом, после тысячи сомнений, все-таки решиться подойти и с ним поздороваться – и в этот самый миг три удара гонга его настигают на полдороге и обращают в бегство, как евреев в Красном море, между бушующих волн зрителей и зрительниц, которым приходится вставать, меж тем как он наступает им на ноги и рвет подола платья. А светские люди, наоборот, расселись в своих ложах, в самой глубине, как в маленьких висящих в воздухе салонах, из которых убрали одну стену, или в кафе, отделанном в неаполитанском стиле, где сейчас закажут желе, не стесняясь ни зеркал в золотых рамах, ни красных сидений; они опирались равнодушной ладонью на золоченные колонны, поддерживающие этот храм театрального искусства; их не волновали преувеличенные почести, которые словно воздавали им две статуи, протягивающие по направлению к ложам пальмовые и лавровые ветви, – и казалось бы, только они одни и способны были бы, отрешась от забот, слушать пьесу, если бы им хватило на это ума.

Сначала были только смутные сумерки, в которых внезапно, как блик от невидимого драгоценного камня, высвечивались то пара знаменитых глаз, то подобный медальону Генриха IV на черном фоне склоненный профиль герцога Омальского, к которому взывала невидимая дама: «Монсеньор, позвольте забрать у вас пальто!», на что принц возражал: «Как можно, госпожа д'Амбрезак, будет вам». Несмотря на его вялое сопротивление, она все-таки избавляла его от пальто, и все завидовали, что ей выпала такая честь.

Но в других бенуарах, почти везде, белые божества, населявшие эти темные пределы, прятались у стен и оставались невидимы. Однако по мере того как спектакль шел к концу, их формы, смутно подобные человеческим, одна за другой томно отделялись от темных глубин, которые они устилали, и полуобнаженные их тела, вздымаясь к свету, замирали на вертикальной границе и на слегка освещенной поверхности, где их блистательные лица возникали позади смешливой, пенной и легкой зыби пернатых вееров, под пурпуром перемешанных с жемчугами волос, чьи изгибы, казалось, следовали волнам морского прибоя; дальше начинались кресла партера, приют смертных, навсегда отделенных от темного и прозрачного царства, чьи границы здесь и там отмечала текучая и плотная поверхность прозрачных, зеркальных глаз, принадлежавших морским богиням. Ведь откидные кресла вдоль берегов и очертания чудовищ в партере запечатлевались в этих глазах согласно одним только законам оптики, повинувшись исключительно углу падения, как те две категории в окружающей реальности, про которые мы знаем, что у них нет души, такой же, как наша, пускай хоть в зачаточном состоянии, а потому почитаем неразумным посылать им улыбки или взгляды, – в эти два разряда входят минералы и люди, с которыми мы не знаем. А по эту сторону границы их владений лучезарные морские девы то и дело оборачивались к бороатым тритонам, цеплявшимся за расселины пропасти, или к какому-нибудь водяному полубогу, у которого вместо головы отшлифованный волнами морской камешек с налипшими на него гладкими водорослями, а вместо глаз кружок из горного хрусталя. Девы наклонялись к ним, угощали их конфетами; иногда из глубокой тени сквозь расступившуюся волну выныривала новая nereida, опоздавшая, улыбочивая и смущенная; а потом наступал антракт, и, не надеясь более услышать мелодичный ропот земли, вызвавший их на поверхность, сестры ныряли все вместе и растворялись во тьме. Но из всех этих убежищ, на пороги которых, ведомые легкомысленным стремлением повидать деянья людей, ступали любопытные богини, редко подпускающие к себе смертных, самым прославленным было скопление полумрака, известное под именем бенуара принцессы Германтской.



Подобно великой богине, издали надзирающей за играми низших божеств, принцесса по собственной воле укрылась чуть позади на боковой кушетке, алой, словно коралловая ветвь, рядом с широким стеклообразным мерцанием, которое, вероятно, было зеркалом и наводило на мысль о перпендикулярном, темном и текучем разрезе, который оставляет луч в ослепленном хрустале вод. Со лба принцессы ниспадал, подобно какому-то морскому растению, большой белый цветок, похожий и на цветок, и на перышко, весь пушистый, как птичье крыло; он струился вдоль щеки, кокетливо, влюбленно и резво обегая ее контур, и щека словно наполовину пряталась в нем, как прячется розовое яйцо в мягком гнезде зимородка. Волосы принцессы покрывала сеть, доходившая до самых бровей, а потом возникавшая опять на уровне шеи; в этой сетке с жемчужинами чередовались белые раковинки, которые добывают кое-где в южных морях, – морская мозаика, только что выплеснутая волной, время от времени окунавшаяся во тьму, но и во тьме чувствовалось присутствие человека – такой ослепительной подвижностью обладали глаза принцессы. Красота, возносившая ее выше всех прочих сказочных дочерей полумрака, далеко не вся была чисто материальной, вписанной в плечи, руки, стан. Нет, именно прелестная незавершенность этого стана оказывалась отправной точкой, необходимым первым эскизом невидимых линий, которыми глаз невольно продолжал видимые черты, – фантастических линий, возникавших вокруг живой женщины, как излучение идеальной фигуры, высвеченное в темноте.

– Это принцесса Германтская, – сказала моя соседка своему спутнику, старательно добавив несколько лишних *p* в слове принцесса, чтобы ясно было, как ей смешон этот титул. – На жемчугах она не экономит. Если бы у меня было их столько, я бы, пожалуй, не выставляла напоказ все сразу; по-моему, это дурной тон.

Однако, узнавая принцессу, все те, кто стремился выяснить, кто находится в зале, чувствовали, как в сердцах у них воздвигается трон, по праву предназначенный красоте. Ведь герцогиню Люксембургскую, госпожу де Мариенваль, госпожу де Сент-Эверт и многих других узнавали по таким приметным чертам, как большой красный нос в сочетании с заячьей губой или морщинистые щеки в сочетании с усиками. И эти их черты вполне могли восхищать зрителей, потому что были такой же условностью, как буквы: из них складывалось знаменитое имя, внушавшее почтение, да к тому же они навевали мысль, что в уродстве есть нечто аристократическое, а если у гранд-дамы красивое лицо, это совершенно неважно. Но подобно тому, как некоторые художники вместо букв своего имени рисуют внизу картины какую-нибудь красивую фигурку – бабочку, ящерицу, цветок<sup>20</sup>, – так и принцесса отмечала угол своей ложи изящной фигурой и прелестным лицом, давая понять, что красота может служить самой что ни на есть благородной подписью; присутствие герцогини Германтской, которая приводила с собой в театр только тех, кто и в другое время тесно с ней общался, было, по убеждению поклонников аристократии, наилучшим удостоверением подлинности картины, изображавшей бенуар принцессы, своего рода напоминанием о сцене из обычной, но такой особенной жизни принцессы в ее мюнхенском и парижском дворцах.

Наше воображение – как испорченная шарманка, которая вечно играет не то, чего от нее хотят; всякий раз, как я слышал о принцессе Германтской-Баварской, во мне запедало воспоминание о каком-нибудь шедевре XVI века. Теперь, когда я видел, как она протягивает цукаты толстому господину во фраке, нужно было от этого отделаться. Разумеется, я был весьма далек от вывода, что она и ее гости – такие же люди, как все прочие. Я прекрасно понимал, что все, что они здесь делают, – просто игра: им нужно разыграть пролог к драме их истинной жизни (причем по-настоящему важную часть этой жизни они, надо думать, играли не здесь), и, повинаясь неведомым мне ритуалам, они сейчас этим заняты: угощают друг друга конфетами, то

<sup>20</sup> ...художники... рисуют внизу картины... бабочку, ящерицу, цветок... – У Дж. Уистлера, например, подписью к картине служил рисунок бабочки.



берут конфету, то отказываются, и эти жесты ничего не выражают, они заданы заранее, как движения балерины, когда она то встает на пуанты, то кружится вокруг какой-нибудь шали. Кто знает? Быть может, протягивая конфеты, богиня произносит ироническим тоном (я видел, что она улыбается): «Хотите конфетку?» Какая разница? Мне бы показались такими восхитительно утонченными, в духе Мериме или Мельяка, намеренно небрежные слова, с которыми богиня обращалась к полубогу, а тот понимал, какие возвышенные мысли вкладывают они оба в эти краткие реплики, зная, что близится миг, когда они вновь заживут своей истинной жизнью, – и вот он подхватывал игру и отвечал: «Да, я бы взял вишенку». И я бы слушал этот диалог с тою же ненасытностью, как какую-нибудь сцену из «Мужа дебютантки»<sup>21</sup>, где тоже отсутствовали поэзия и глубокие мысли, все то, что было мне так близко, хотя Мельяк, на мой взгляд, мог бы запросто украсить ими свою пьесу, но в этом изъяне мне мерещилась особая утонченность, условная и оттого еще более таинственная и назидательная.

– Вон тот толстяк – маркиз де Ганансэ, – убежденно произнес мой сосед, плохо расслышав имя, которое прошептали у него за спиной.

Маркиз де Паланси медленно перемещался в прозрачном сумраке – шея вытянута, корпус изогнут, круглый выпученный глаз прилип к стеклышку монокла – и, казалось, замечал публику в партере не более, чем рыба, проплывающая за стеклянной стенкой аквариума, замечает толпу любознательных посетителей. Время от времени он останавливался, почтенный, одышливый, замшелый, и зрителям невозможно было решить, то ли он страдает, то ли спит, то ли плавает, то ли мечет икру, то ли просто дышит. Я завидовал ему, как никому другому: ведь он, казалось, так привык к этому бенуару, так равнодушно принимал у принцессы конфеты, а она при этом устремляла на него взгляд своих прекрасных глаз, высеченных из бриллианта и словно источавших в такие минуты поток ума и дружелюбия, но, когда ничто ее не волновало, возвращавшихся к состоянию чистой материальной красоты, к исключительно минеральному блеску, а если она, повинаясь мельчайшему побуждению, слегка ими поводила, они заволакивали глубину партера нечеловеческими, горизонтальными и роскошными огнями. Тем временем вот-вот должен был начаться тот акт «Федры», где играла Берма, и принцесса пересела в первый ряд ложи; словно участвуя в спектакле, на новом месте она оказалась по-другому освещена, и я видел, как изменились не только цвет, но и вещество, из которого были сделаны ее драгоценности. И в осушенной, вынырнувшей из глубин ложе, уже не принадлежавшей подводному миру, принцесса из nereиды превратилась в превосходную трагическую актрису в бело-голубом тюрбане, одетую в костюм Заиры, а может быть, и Оросмана<sup>22</sup>; а потом, когда она уже сидела в первом ряду, я увидел, что мягкое гнездо зимородка, нежно защищавшее розовый перламутр ее щек, пушистое, сверкающее и бархатистое, обернулось огромной райской птицей.

Тут я оторвал взгляд от ложи принцессы Германтской, потому что меня отвлекла маленького роста женщина, плохо одетая, некрасивая, с горящими глазами, усевшаяся вместе с двумя молодыми людьми через несколько кресел от меня. Потом поднялся занавес. Я не мог не печалиться, думая о том, что ничего не осталось от моей прежней готовности мчаться хоть на край света, чтобы, ничего не упуская, наблюдать какое-нибудь необыкновенное явление; тогда мой ум был всегда наготове, подобно тем высокочувствительным пластинкам, которые астрономы привозят в Африку или на Антильские острова, чтобы тщательнейшим образом изу-

<sup>21</sup> «Муж дебютантки» – комедия Анри Мельяка и Людовика Галеви (1879). Драматурги Анри Мельяк (1831–1897) и Людовик Галеви (1834–1908) упоминаются в романе много раз, поэтому скажем о них подробнее. Кроме театральных пьес, они создали множество либретто к операм (например, «Кармен» Жоржа Бизе) и опереттам. С сыном Людовика Галеви Даниэлем Пруст учился вместе в лицее Кондорсе и прятался.

<sup>22</sup> ...одетую в костюм Заиры, а может быть, и Оросмана... – В трагедии Вольтера «Заира» (1732) Заира – пленница Оросмана, султана Иерусалима; в финале султан в приступе ярости закалывает ее кинжалом, а потом закалывается сам.



чить комету или затмение<sup>23</sup>; тогда я трепетал, что какая-нибудь туча (или дурное настроение артистки, или шум в публике) помешает зрелищу явиться в полную силу; тогда я полагал, что это уже будет совсем не то, если я приеду не в тот самый театр, что считается святилищем этой артистки и где существенной, хотя и второстепенной частью ее появления под маленьким красным занавесом мне казались контролеры с белыми гвоздиками, которых нанимала она сама, изгиб галереи, нависающей над амфитеатром, полным плохо одетых людей, капельдинерши, продававшие программки с ее фотографией, каштаны на площади, все эти собраты и сподвижники моих тогдашних впечатлений, представлявшиеся мне накрепко с ними слитыми. «Федра», сцена объяснения<sup>24</sup>, Берма, – для меня их существование было безраздельно. Они существовали сами по себе, в стороне от мира повседневного опыта, до них надо было добраться, я впитывал из них лишь то, что мог, а распахнув глаза и душу пошире, мог уловить еще самую каплю. Но какая это была радость! То, что доньше я вел такую незначительную жизнь, оказывалось безразлично, не важнее, чем минуты, потраченные на одевание, на сборы перед уходом из дому, потому что вне всего этого существовало нечто настоящее, хорошее, то, до чего нелегко добраться, чем невозможно обладать, нечто надежное, – «Федра» и манера Берма произносить слова роли. Насыщенный этими мечтами о совершенстве в драматическом искусстве, мечтами, которые в любое время дня, а то и ночи можно было бы извлечь из моей головы в огромных количествах, если бы кому-нибудь в те времена вздумалось проанализировать ее содержимое, я был словно гальванический элемент, вырабатывающий электричество. Было время, когда я пошел бы слушать Берма, даже если бы чувствовал, что умираю. Но теперь, подобно холму, что издали кажется лазурным, а вблизи вписывается в круг самых заурядных предметов, открытых нашему взору, все это покинуло область непреложного и превратилось в такое же явление, как все прочие: я все видел и слышал, потому что оказался здесь, артисты были сделаны из того же теста, что мои знакомые, они старались как можно лучше произнести строки из «Федры», а сами строки уже не были совершенно особыми, не поражали высшим смыслом и неповторимостью – это были недурные стихи, вполне достойные войти в огромную кладовую французской поэзии, с которой были тесно связаны. Вдобавок, хотя предмет точившего меня упрямого желания более не существовал, зато никуда не делся вкус к упорным мечтам, менявшимся от года к году, но неизменно приводившим меня к внезапным порывам, не считавшимся с опасностью; от этого мое разочарование бывало еще мучительней. Какой-нибудь день, когда я отправлялся больной посмотреть на картину Эльстира в таком-то замке или на готическую шпалеру, был точь-в-точь похож на давно минувший день, когда мне предстояло уехать в Венецию, или на тот, когда я ходил слушать Берма, или уезжал в Бальбек, а потому я заранее чувствовал, что предмет, ради которого я иду на жертвы, очень скоро станет мне безразличен, и даже если я окажусь совсем близко от него, то, возможно, не пойду взглянуть на эту картину, на эти шпалеры, ради которых согласен был терпеть и бессонные ночи, и приступы болезни. Цель моих усилий была так неустойчива, что я чувствовал, насколько тщетны сами усилия, и в то же время – какие они титанические, точь-в-точь неврастеник, который чувствует себя вдвое более усталым, если заметить ему, что он устал. А между тем моя мечтательность окружала ореолом все, на что обращалась. И даже в самых плотских моих желаниях, всегда устремленных в определенную сторону, сосредоточенных вокруг одной и той же мечты, я узнавал тот же первый импульс, ту же идею, за которую готов был жизнь отдать;

<sup>23</sup> ...подобно тем высокочувствительным пластинкам... изучить комету или затмение... – Дагеротипия использовалась для наблюдений за астрономическими явлениями еще с середины XIX в., но здесь Пруста, как указывает французский комментатор, вдохновило появление кометы Галлея в 1910 г.; во время ее прохождения астрономам удалось сделать множество фотографий.

<sup>24</sup> «Федра», сцена объяснения... – Имеется в виду, конечно, трагедия Расина (1677). В явл. 5 дейст. 2 Федра объясняется Ипполиту в любви.



в самом центре ее, как в тех грезах, что одолевали меня в Комбре вечерами, проведенными за чтением, стояло понятие совершенства.

Теперь я уже без прежней снисходительности следил, как добросовестно стараются Арисия, Исмена и Ипполит передать словами и игрой нежность или гнев. И не то чтобы эти артисты – а они были те же самые – не пытались по-прежнему и так же осмысленно придать голосу то льстивый тембр, то нарочитую двусмысленность, а жестам то безудержный трагизм, то выражение кроткой мольбы. Их интонации приказывали голосу: «Будь нежным, пой соловьем, ласкай слух» или наоборот «Звучи яростно», а потом накидывались на него, заражая своим буйством. Но мятежный голос, отстраняясь от их декламации, не шел на уступки и оставался таким, каков он был от природы, сохранял свои постоянные изъяны или прелестный тембр, вульгарность или фальшь, и в нем явственно слышались все его акустические и социальные особенности, а чувство, заключенное в стихах, которые он произносил, на него не влияло.

И жестикуляция этих артистов точно так же говорила их рукам и пеплумах: «Будьте величественны!» Но непокорные руки шевелили от локтя до плеча бицепсами, которые знать не знали о роли: они продолжали толковать о ничтожной повседневности, а вместо расиновских нюансов выставляли напоказ игру мускулов и вздымали драпировки, ниспадавшие в согласии с законами падения тел, умерявшимися только вялой податливостью тканей. Тут моя соседка воскликнула:

– Ни одного хлопка! И что она на себя напялила! Постарела, никуда не годится, в таких случаях пора на покой.

Соседи на нее зашикали, молодые спутники пытались ее урезонить, и теперь ярость полыхала только у нее в глазах. Причем эта ярость явно была вызвана успехом, славой, ведь за душой у Берма при всех ее огромных заработках были одни долги. Она вечно отменяла назначенные свидания, деловые и дружеские, на которые ей некогда было явиться, по улицам вечно спешили ее посыльные с поручением отказаться от гостиницы или квартиры, которые она снимала заранее, но никогда в них не въезжала, отменить заказ на море духов для мытья собак, уплатить неустойку директорам всех театров. А если более существенных расходов не было, она, даром что не отличалась сладострастием Клеопатры, все равно ухитрялась проматывать целые царства – на пневматички и наемные экипажи от «Юрбен»<sup>25</sup>. Но миниатюрная дама была актрисой-неудачницей и смертельно ненавидела Берма. А Берма как раз вышла на сцену. И тут, о чудо, произошло то, что бывает, когда учишь вечером урок, изнуряешь себя, и все зря, а наутро, проснувшись, обнаруживаешь, что помнишь задание наизусть; или когда, страстно напрягая память, пытаешься представить себе лицо человека, который умер, – и не можешь, а потом, когда уже о нем не думаешь, он вдруг встает у тебя перед глазами совсем как живой: талант Берма, ускользавший от меня, когда я так жадно пытался добраться до самой его сути, теперь, спустя годы забвения, пробился сквозь мое безразличие, предстал мне со всей непреложностью – и я пришел в восторг. Когда-то, пытаясь представить себе ее талант в чистом виде, я стремился отделить то, что видел и слышал, от самой роли, общей для всех актрис, игравших Федру; я заранее изучил эту роль, желая изъять ее, чтобы в остатке оказался только талант мадам Берма. Но талант, который я искал отдельно от роли, существовал только в слиянии с ней. То же самое происходит с любым великим музыкантом (кажется, так было с Вентейлем, когда он принимался музицировать): если играет такой великий пианист, ты уже не понимаешь, в самом ли деле это пианист, потому что, когда он играет, дело совсем не в черед мускульных усилий, тут и там увенчанных блестящими эффектами, не во всей этой мешанине нот, в которой слушатель, особенно неискушенный, усматривает талант во всей его материальной ощутимости и весомости; его игра так прозрачна, так насыщена тем, что он исполняет,

<sup>25</sup> «Юрбен» – название одной из наиболее крупных парижских компаний, сдававших внаем фиакры и разнообразные экипажи.



что самого исполнителя уже не видно: он превратился в окно, сквозь которое виден шедевр. Я различал замыслы Арисии, Исмены, Ипполита, окружавшие их голоса и мимику словно каймой, то величественной, то изысканно-тонкой; но у Федры все это оставалось внутри, и я не в силах был мысленно оторвать ее находки, ее взлеты от того, как она произносит текст, какие позы принимает, уловить в строгой простоте, в мнимой монотонности ее игры эти приемы, которые из этой игры не выбивались, потому что пропитали ее насквозь. В голосе Берма не оставалось ни одного звука, призванного просто заполнить пустоту, ничего ускользнувшего от осмысления, он не расплескивал вокруг актрисы излишек слез, – не то что мраморные голоса Арисии и Исмены, истекавшие слезами, потому что не умели впитать их в себя; нет, ее голос смягчался до последней частички, как инструмент великого скрипача, о котором говорят, что у него прекрасный звук, желая похвалить не физические особенности звучания, а возвышенную душу; и как в античном пейзаже на месте исчезнувшей нимфы бьет неодушевленный источник, так конкретный и внятный замысел преобразовывался в ее голосе в особое качество тембра, в странную, уместную и холодную прозрачность. Руки Берма словно подчинялись самим стихам в том же порыве, что исторгал слова из ее уст, вздымались над ее грудью подобно листьям, уносимым потоком воды; ее манера держаться на сцене развивалась медленно, постепенно менялась; она вырабатывалась путем мыслительных усилий совсем другой глубины, чем те, что отразились в жестах других актрис: зримые результаты ее мысли словно отрывались от замысла и растворялись в окружавшем Федру сиянии, в трепете богатых и сложных его стихий, которые очарованный зритель принимал не за достижение актрисы, а за приметы самой жизни; а белые покрывала, изнемогающие, покорные, казались живой материей, будто сотканные полуязыческим, полуянсенистским страданием, вокруг которого они тесно обвивались, образуя хрупкий трепетный кокон; и все это – голос, манера держаться, жесты, покрывала – витало вокруг тела этой мысли, то есть стиха (причем оно, в отличие от человеческих тел, не было мутным заслоном, мешающим рассмотреть душу, но чистейшим и свежайшим ее одеянием, и она лучилась в нем, доступная созерцанию); все это было только дополнительными пеленами, не скрывавшими, а возвеличивавшими душу, пока она уподоблялась им и наполняла их; все это было только потоками разных прозрачных субстанций, которые, накладываясь друг на друга и преломляясь, еще ярче заставляли сверкать заточенный в них и пронзавший их насквозь центральный луч, еще шире распространяли во все стороны окружавшую его материю, все более драгоценную, прекрасную и насыщенную пламенем. Игра Берма творила второе произведение искусства вокруг первого, и это второе тоже одухотворял гений.

По правде сказать, мое впечатление, более благоприятное на этот раз, не так уж отличалось от сложившегося когда-то. Просто я не противопоставлял его больше предвзятой, абстрактной и ложной идее актерского гения; теперь я понимал, что это и есть актерский гений. Мне подумалось, что Берма не доставила мне радости, когда я смотрел ее в первый раз, потому что я слишком уж хотел ее увидеть – как в свое время Жильберту на Елисейских Полях. Может быть, между этими двумя разочарованиями было и другое, более глубокое сходство. Яркий, необычный человек или яркое, необычное произведение (или его исполнение) воздействуют на нас по-особому. Мы заранее запаслись понятиями «красоты», «великолепного стиля», «патетики», и, пожалуй, нам может иногда показаться, что мы распознаём эти качества в банальном таланте или правильных чертах лица, а тут вдруг нашему пытливому уму навязывается некая форма, не имеющая для него интеллектуального эквивалента, и ему еще предстоит определить, что в ней ему незнакомо. Он слышит пронзительный звук, странную вопросительную интонацию. Он задаётся вопросом: «Это прекрасно? Это меня восхищает? Но что это – богатство красок, благородство, могущество?» А в ответ опять слышится пронзительный голос, непостижимо вопросительная интонация, и какое-то неведомое существо из плоти и крови со всем деспотизмом навязывает ему свое впечатление, не оставляя ни малейшего простора для «более широкого толкования». И вот почему в самом деле прекрасные произведения, когда изо всех



сил в них вслушиваешься, приносят нам больше всего разочарований: ведь среди множества понятий, которые есть у нас в запасе, ни одно не соответствует нашему собственному впечатлению.

Вот это я и видел теперь в игре Берма. Да, это было благородство, это была осмысленность роли. Теперь я видел достоинства щедрой, поэтичной, властной трактовки; вернее, именно так было принято это называть – ведь называем же мы светила именами Марса, Венеры, Сатурна, хотя ничего мифологического в них нет. Чувствуем мы в одном мире, а мыслим и называем в другом, мы можем установить соответствие между этими мирами, но не можем заполнить разрыв между ними. И невелик вроде бы этот разрыв, этот пробел, который мне предстояло преодолеть, когда я впервые пошел на спектакль Берма и слушал изо всех сил, но как-то не мог пустить в ход усвоенные понятия «благородства интерпретации», «оригинальности», и захлопал в ладоши только после момента пустоты, словно благородство и оригинальность дошли до меня не благодаря полученному впечатлению, а из заранее припасенных понятий, из радости, с которой я себе твердил: «Наконец-то я слышу Берма». И разница между самобытной личностью, неповторимым произведением и нашим понятием о красоте так же огромна, как между чувством, которое они в нас вызывают, и понятиями любви и восторга. Мы их просто не узнаем. Мне не понравилось слушать Берма (как не понравилось встречаться с Жильбертой). Я себе сказал: «Значит, я ею не восхищаюсь». И все же я тогда только и думал о том, как бы углубиться в игру Берма, только это меня и занимало, я пытался как можно шире распахнуть свое восприятие, чтобы вместить в него содержание ее игры. Теперь я понимал, что это и было восхищение.

Исполняя роль, Берма не просто являла нам гений Расина – но разве это был гений одного Расина?

Сперва я так и подумал. Но заблуждение мое рассеялось, когда акт из «Федры» окончился и актеры перестали выходить на вызовы; все это время старая актриса, моя соседка, в ярости простояла выпрямившись во весь свой крошечный рост и скрестив руки на груди в знак того, что не присоединяется ко всеобщим аплодисментам, желая, чтобы все обратили внимание на эту демонстрацию, с ее точки зрения вызывающую, но никем не замеченную. Следующая пьеса была новинкой, раньше она показалась бы мне легковесной и случайной, никому не известной и обреченной поэтому на одно-единственное исполнение. Но от нее я не испытывал такого разочарования, как от классической пьесы, когда видишь, как нетленный шедевр, замкнутый в тесноте сцены и длительности одного представления, разыгрывается точно так же, как случайная однодневка. И потом, я догадывался, что каждая тирада это новой пьесы, которая явно нравилась публике, когда-нибудь будет у всех на слуху, даром что в прошлом ее никто знать не знал, и я мысленно осенял ее этой грядущей известностью с помощью усилия, обратного тому, как, бывает, воображаешь себе шедевр в момент его трепетного явления на свет, когда никто еще не слышал его названия и кажется, он никогда не будет красоваться в одном ряду с другими творениями автора, озаренный теми же лучами. А эта роль окажется в списке самых прекрасных ролей актрисы, рядом с Федрой. Пожалуй, сама по себе эта роль не блистала литературными красотами, но Берма была в ней так же великолепна, как в роли Федры. И тогда я понял, что для актрисы произведение писателя – не более чем нейтральный материал, из которого она творит свой актерский шедевр; так Эльстир, великий художник, с которым я познакомился в Бальбеке, нашел сюжеты для двух равно замечательных картин в заурядном школьном здании и в соборе, который и сам по себе был шедевром. И как художник растворял дом, повозку, людей в великолепном потоке света, который смешивал их в одно, так Берма расстилала огромные полотнища ужаса или нежности поверх слов, тоже расплавленных, приглаженных или вздыбленных, – а у посредственной артистки все эти слова вылетали бы по отдельности. Причем каждое слово у Берма интонировалось по-своему, а декламация не разрушала стиха. А ведь это уже первый элемент упорядоченной сложности и красоты: когда мы



слышим рифму, то есть нечто одновременно и похожее на предшествующую рифму, и совсем другое, причем эта новая рифма продиктована предыдущей, но варьирует ее, вводит новое понятие, – мы чувствуем, как накладываются друг на друга две системы: мысль и метрика. Берма к тому же объединяла слова, стихи и целые «тирады» в более пространные пассажи, и было сущим удовольствием наблюдать, как один такой пассаж замирает, пресекается, сходит на нет, прежде чем начнется другой; так поэт наслаждается тем, что придерживает на рифме слово, которое вот-вот сорвется с губ, а композитор перемешивает слова либретто, подчиняя их единому ритму, который противоречит им и подчиняет их себе. Так Берма искусно встраивала и в текст современного драматурга, и в стихи Расина мощные образы горя, благородства, страсти; это были ее собственные шедевры, по которым ее можно было узнать, как узнают художника в портретах, которые он пишет с разных людей.

Мне уже не хотелось, как когда-то, чтобы Берма застыла в той или другой позе, или чтобы задержалась игра красок, озарившая ее на краткий миг, когда она оказалась в луче света, и тут же померкшая, или чтобы актриса повторила один и тот же стих сто раз подряд. Я понимал теперь: то, чего я когда-то так требовательно желал, противоречило воле поэта, актрисы, великого художника-декоратора, режиссера; это летучее очарование стиха, эти зыбкие, постоянно преобразующиеся жесты, эти сменяющие друг друга картины, – все это был мимолетный итог, скоропреходящая цель, недолговечный шедевр, к которому стремилось театральное искусство; желая остановить это мгновение, слишком пристальный взгляд влюбленного зрителя все разрушал. Мне даже не хотелось поскорее прийти опять послушать Берма; я был доволен тем, что есть; раньше, чтобы не разочароваться в предмете моего поклонения, в Жильберте или Берма, я слишком уж перед ними преклонялся: я словно требовал наперед у завтрашнего впечатления ту радость, в которой мне отказало вчерашнее. Я не пытался вникнуть в эту мою радость – а ведь тогда бы она, пожалуй, могла принести мне больше пользы; я просто говорил себе, как когда-то мои соученики по коллежу: «Решительно, Берма у меня на первом месте», смутно догадываясь, что, закрепив за нею первое место и показав, что она нравится мне больше других актрис, я не вполне точно описываю ее гениальность, хотя, конечно, на душе становится легче.

Когда началась вторая пьеса, я смотрел в ту сторону, где была ложа принцессы Германтской. Принцесса как раз повернула голову движением, намечавшим восхитительную линию, которую я мысленно продолжил в пространстве, и посмотрела в глубину ложи; гости встали на ноги и обернулись туда же, выстроившись двумя шпалерами, а между ними прошествовала кузина принцессы, герцогиня Германтская, только что вошедшая в ложу с величественной самоуверенностью богини, но в то же время с необыкновенной кротостью, благодаря которой само ее опоздание и то, что, явившись посреди представления, она заставила всех встать с мест, искусно добавляло окутывавшему ее белому муслину оттенок наивности, застенчивости и смущения, смягчавших ее победоносную улыбку; она подошла к кузине, присела в глубоком реверансе перед белокурым молодым человеком в первом ряду и, обернувшись к священным морским чудовищам, плававшим в глубине пещеры, к божествам Жокей-клуба, в том числе к г-ну де Паланси, на чьем месте мне особенно хотелось оказаться, раскланялась с ними непринужденно, как со старыми друзьями, словно намекая на тесные отношения из дня в день на протяжении последних пятнадцати лет. Я чувствовал присутствие тайны, но не мог разгадать загадку этого ласкового взгляда, которым она одаряла друзей; он полыхал синевой, пока герцогиня протягивала руку то тем, то этим, и если бы я в силах был разложить его с помощью призмы и проанализировать обнаруженное скопление кристаллов, мне бы удалось, быть может, разглядеть самую суть незнакомой жизни, мерцавшей в них в этот миг. Следом за женой шел герцог Германтский, сверкая моноклем, зубами, ослепительной белизной плисированной манишки, от которых, чтобы не затмевать их сияние, чуть отставали его брови, губы, фрак; он держался очень прямо и, не повернув головы, опускал простертую руку на плечи низших божеств, уступавших ему дорогу, отчего они, покорствуя его властному жесту, опу-



кались на свои места, а затем низко склонился перед белокурым молодым человеком. Герцогиня, по слухам, подсмеивалась над «преувеличениями» своей кухни (причем словцо, которое она считала истинно французским и совершенно невинным, мигом обретало в ее устах германскую поэтичность и восторженность); она словно угадала, что в этот вечер принцесса будет в одном из туалетов, которые сама она называла «маскарадными», и решила дать ей урок хорошего вкуса. Вместо великолепных и мягких перьев, венчавших голову принцессы и спускавшихся до самой шеи, вместо сетки, усеянной раковинками и жемчугами, волосы герцогини были украшены простой эгреткой, которая, осеняя ее нос с горбинкой и глаза навывкате, напоминала птичий хохолок. Ее шею и плечи омывал белоснежный поток муслина, над которым бился веер из лебяжьих перьев, но корсаж платья был отделан лишь металлическими блестками в форме стрелок и бусинок да бриллиантами, а само платье облегло ее тело с истинно британской пунктуальностью. Наряды были совершенно разные, но когда принцесса уступила кухне кресло, в котором сидела до сих пор, обе они повернулись друг к другу – и тут стало ясно, что каждая восхищается тем, как одета другая.

Завтра, быть может, герцогиня Германтская улыбнется, описывая чересчур сложную прическу принцессы, но наверняка подчеркнет, что кухня тем не менее была очаровательна и отменно элегантна; а принцесса, которой, вообще говоря, не по вкусу был холодноватый, строгий, чересчур утонченный стиль кухни, обнаружит, что в этой сдержанности, в этой нелюбви к излишествам есть нечто восхитительно изысканное. И вообще между ними царило согласие, всемирное тяготение, predetermined воспитанием и сглаживавшее противоречия между их манерой одеваться и даже повадками. Утонченность манер протянула между ними невидимые магнитные линии, и это силовое поле умеряло врожденную экспансивность принцессы, а жесткость герцогини в этом поле смягчалась, наполнялась кротостью и обаянием. Если зрители поднимали глаза к ярусу, они видели там в двух ложах «туалеты», из которых один, якобы сравнимый с нарядом принцессы Германтской, как казалось баронессе де Мариенваль, придавал этой даме налет чужаковости, самодовольства и дурного воспитания, а другой, свидетельствуя об упорном стремлении любой ценой напоминать наряд и шарм герцогини Германтской, лишь превращал госпожу де Камбремер в провинциальную пансионерку, прямую, будто через нее продернута проволока, сухопарую и угловатую, с каким-то похоронным плюмажем, вертикально торчавшим в волосах; точно так же в пьесе, которую сейчас играли на сцене, довольно было роль Берма, которая была по силам только ей одной, поручить любой другой исполнительнице, чтобы оценить ту особую поэзию, что исходила от великой актрисы. Возможно, г-же де Камбремер нечего было делать в зале, где в ложах (даже самых верхних, снизу напоминавших пузатые корзины, которые плотно заполнили человеческими цветами и подвесили к аркам свода на алых ремнях бархатных переборок) были подобраны одна к одной только самые блистательные дамы нынешнего сезона; эту эфемерную панораму вскоре предстояло видоизменить смертям, скандалам, болезням, ссорам, но теперь она, замороженная вниманием, жарой, головокружением, пылью, элегантностью и скукой, замерла на миг в этом вечном и трагическом пространстве бессознательного ожидания и безмятежного оцепенения, которое потом вспоминается как затишье перед взрывом бомбы или началом пожара.

Причина, по которой г-жа де Камбремер находилась в зале, заключалась в том, что принцесса Пармская, подобно большинству высочеств чуждая снобизму, но зато снедаемая гордыней и страстью к благотворительности, соперничавшей в ней с любовью к тому, что она считала искусством, абонировала в зале несколько лож для женщин, которые, как г-жа де Камбремер, не принадлежали к высшей аристократии, но были связаны с ней разными человеколюбивыми начинаниями. Г-жа де Камбремер не сводила глаз с герцогини и принцессы Германтских, что было ей совсем нетрудно, ведь она была с ними, в сущности, незнакома, и никто бы не подумал, что она набивается на приветствие. А между тем вот уже десять лет с неиссякающим терпением она стремилась к цели, состоявшей в том, чтобы ее принимали у этих двух велико-



светских дам. Она рассчитала, что через пять лет должна этого добиться. Но она опасалась не дожить до этого дня, потому что ее настигла беспощадная болезнь, причем она, претендуя на медицинские познания, считала, что знает, насколько ее болезнь неизлечима. Но в этот вечер по крайней мере она была счастлива при мысли, что все эти совершенно незнакомые ей дамы увидят рядом с ней человека их круга, молодого маркиза де Босержана, брата г-жи д'Аржанкур; он тоже принадлежал к обоим кругам, и женщины из низшего очень любили показаться в его обществе в присутствии высшего. Он сидел позади г-жи де Камбремер, повернув кресло наискосок, чтобы лорнировать другие ложи. Он знал здесь всех и, с очаровательным изяществом изгибая стройный стан, склонял в приветствии благородную белокурую голову и слегка привставал с кресла, почтительно и вместе с тем непринужденно улыбаясь голубыми глазами и аккуратно вписываясь наискось в угол ложи, напоминая старинный эстамп, изображающий высокородного аристократа, одновременно надменного и услужливого. Он часто соглашался сопровождать г-жу де Камбремер в театр; в зале и на выходе, в вестибюле, он честно оставался при ней среди более блестящих приятельниц, которых поминутно встречал в толпе, но избегал с ними заговаривать, чтобы их не смущать, словно сам он был в неподобающей компании. Если мимо проходила принцесса Германтская, прекрасная и легкая, как Диана, влача за спиной неопишемое манто, и все головы поворачивались к ней, и все взоры ее провожали (а особенно взор г-жи де Камбремер), г-н де Босержан погружался в разговор с соседкой, а на ослепительно-дружескую улыбку принцессы отвечал словно нехотя, через силу, с благовоспитанным и милосердным холодком человека, сознающего, что сейчас его любезность пришлось бы нектати.

Даже если бы г-жа де Камбремер не знала, что ложа бенуара принадлежит принцессе, она бы все равно догадалась, что герцогиня там гостит, по тому, с каким интересом она, в угоду принцессе, вглядывалась в спектакль, разыгрывавшийся на сцене и в зале. Но одновременно с центростремительной силой на герцогиню воздействовала и центробежная, вызванная тою же любезностью; под влиянием этой силы герцогиня опять и опять обращала внимание на свой собственный туалет, свою эгретку, свое кольцо, свой корсаж, а также на туалет принцессы; она словно провозглашала себя подданной своей кузины, ее рабыней, которая и пришла-то сюда лишь затем, чтобы ее повидать, и готова по первому слову хозяйки ложи следовать за ней куда угодно, а на остальную публику смотрит лишь как на сборище странных чужаков, даром что среди них было немало друзей, в чьих ложах она гостила раньше, оказывая им целую неделю точно такие же знаки исключительной и относительно безраздельной преданности. Г-жу де Камбремер удивило, что герцогиня Германтская в тот вечер была в театре. Она знала, что та надолго уехала в замок Германт, и думала, что она еще там. Но ей рассказывали, что, когда в Париже давали интересующий герцогиню спектакль, та, попив чаю с охотниками, сразу велела закладывать лошадей и на закате мчалась галопом через сумеречный лес, потом по дороге, садилась в Комбре на поезд и вечером оказывалась в Париже. «Может быть, она нарочно приехала из замка Германт, чтобы послушать Берма», – в восхищении думала г-жа де Камбремер. Она припоминала, как Сванн сказал однажды на том двусмысленном жаргоне, который роднил его с г-ном де Шарлюсом: «Герцогиня – одна из благороднейших дам в Париже, она принадлежит к самой избранной, самой изысканной элите». Мне, возводившему жизнь и образ мыслей обеих кузин (но только не внешность – ведь я их уже видел) к Баварскому королевскому дому, к герцогам Германтским и Конде, их соображения о «Федре» были бы интереснее, чем суждение величайшего критика на свете. Потому что в его суждении я бы обнаружил только ум – пускай превосходящий мой собственный, но, в сущности, тот же ум. А то, что думали герцогиня и принцесса Германтские, обогатило бы меня драгоценным материалом, приоткрывающим для меня природу этих двух поэтических созданий; я, опираясь на их имена, воображал себе, о чем они думают, наделял их мысли непостижимым очарованием и, одержимый лихорадочной



ностальгией, жаждал, чтобы их мнение о «Федре» вернуло мне прелесть летних вечеров, когда я ходил гулять в сторону замка Германт.

Г-жа де Камбремер пыталась понять, что же такого особенного в туалетах обеих кузин. А я не сомневался, что никто, кроме них, не может так одеваться, и не только по той же причине, по какой ливреи с красным воротником или голубыми отворотами принадлежали некогда исключительно Германтам и Конде, а скорее потому что они были как птицы, для которых перья – не просто украшение, а продолжение их тел. Наряды этих двух женщин представлялись мне то снежным, то лучезарным воплощением их внутренней жизни; и мне казалось, что точно так же, как движения принцессы Германтской, несомненно исполненные скрытого смысла, так и перья, ниспадавшие со лба принцессы, и ослепительный, усыпанный блестками корсаж ее кузины что-то означают, что это неповторимые знаки, которыми каждая из них отмечена, – и мне хотелось проникнуть в их значение: от одной из них была неотделима райская птица, как павлин от Юноны; а расшитый блестками корсаж другой не посмела бы надеть никакая другая женщина, все равно как сверкающую, бахромчатую эгиду Минервы. И когда я смотрел на эту ложу, то гораздо сильнее, чем при взгляде на театральный потолок, расписанный холодными аллегориями, меня охватывало чувство, будто обычные облака чудесным образом расступились и в зазоре между ними мне приоткрылось собрание богов, которые под сенью алого шатра, в сияющем просвете между двумя небесными столпами смотрят человеческий спектакль. Я созерцал этот мимолетный апофеоз со смешанным чувством: на душе у меня было спокойно, и в то же время я сознавал, что бессмертным до меня нет дела; правда, однажды герцогиня видела меня рядом со своим мужем, но наверняка не запомнила, и я не страдал, наблюдая, как со своего места в ложе бенуара она смотрит на публику в партере, на эти безымянные и собирательные звездчатые кораллы, потому что, к счастью, чувствовал, что и сам растворился в них, как вдруг, вероятно в силу закона преломления, я – едва различимое простейшее, лишенное индивидуальности, – оказался на пути безмятежного излучения двух голубых глаз и увидел, как в них промелькнула искра узнавания: из богини герцогиня превратилась в женщину и, показавшись мне в тот же миг в тысячу раз прекрасней, подняла затянутую в белую перчатку руку, лежавшую на барьере ложи, и дружески мне помахала; тут же мой взгляд скрестился с произвольным жарким огнем, полыхнувшим из глаз принцессы, когда она просто глянула, любопытствуя, с кем это поздоровалась кузина, а та, узнав меня, обрушила на меня блистательный небесный ливень своей улыбки.

Отныне каждое утро задолго до того, как герцогиня выходила из дому, я долго шел круглым путем, чтобы занять место на углу улицы, по которой она обычно шла, и когда мне казалось, что миг ее появления близок, я с рассеянным видом шагал навстречу, глядя в другую сторону, и, только поравнявшись с ней, смотрел на нее с таким видом, словно никак не ожидал ее увидеть. Первые дни, чтобы как-нибудь ее не пропустить, я ждал возле дома. И всякий раз, едва распахивались ворота (пропуская столько людей, но только не ее), их сотрясение отдавалось у меня в сердце дрожью, которая долго потом не хотела уняться. И никакой неведомый и фанатичный поклонник великой актрисы, томимый ожиданием перед входом для артистов, никакая толпа ненавистников или обожателей, собравшаяся, чтобы выплеснуть злобу на осужденного или осыпать почестями великого человека, который должен скоро проследовать этой дорогой, не волновались так при малейшем звуке, доносящемся из театра, тюрьмы или дворца, как волновался я, поджидая выхода этой высокородной дамы, которая шествовала, скромно одетая, и умела ступать так изящно (но совсем по-другому, чем входя в салон или в театральную ложу), что для меня в целом мире не оставалось никого, кроме нее, а утренняя прогулка превращалась у нее в настоящую поэму элегантности, в самое утонченное украшение, в самый редкостный цветок, распустившийся ясным днем. Но через три дня, опасаясь, что швейцар обратит внимание на мой маневр, я стал уходить гораздо дальше и подкарауливать герцогиню где-нибудь по дороге, там, где она обычно шла. До того вечера в театре я в хоро-



шую погоду часто отправлялся перед обедом на короткую прогулку; в дождь, дождавшись первого же просвета, тоже выходил на минутку, ступал на еще мокрый тротуар, превратившийся под солнечным светом в золотой лак, и тут в апофеозе перекрестка, сверкавшего под бронзовым, пронизанным лучами туманом, я вдруг замечал какую-нибудь пансионерку в сопровождении учительницы или молочницу с белоснежными рукавами и замирал, прижимая руку к сердцу, так и летевшему навстречу чужой жизни; я пытался вспомнить, на какой улице, в какую минуту, за какой дверью безвозвратно исчезла девочка, за которой я иногда шел следом. К счастью, мимолетность этих образов, которые я лелеял, обещая себе, что постараюсь увидеть их снова, мешала им как следует укорениться в моих воспоминаниях. Но не беда: мне не так обидно было болеть, не так обидно сознавать, что мне всё не хватает силы духа, чтобы приняться за работу, начать книгу, земля представлялась мне приятнее, жизнь интереснее, с тех пор как я обнаружил, что на парижских улицах, точь-в-точь как на бальбекских, расцветают неведомые красавицы, которых я так часто пытался выманить из рощ в Мезеглизе, и каждая вызывала во мне сладострастное томление, которое лишь она одна могла утолить.

Вернувшись из Оперы, наутро я добавил к образам, которые мечтал вновь увидеть в последние дни, образ герцогини Германтской – высокой, с легкими белокурыми волосами, уложенными в сложную прическу, с обещанием нежности в улыбке, которую она послала мне из ложи своей кухни. Я собирался идти той дорогой, которую, по словам Франсуазы, облюбовала герцогиня, а заодно к концу занятий и урока катехизиса поспеть к школе, чтобы вновь увидеть двух девушек, встреченных позавчера. Но то и дело мне представлялась блистательная улыбка герцогини, от которой веяло на меня такой лаской. И, сам толком не понимая, чем занимаюсь, я отваживался соотнести все это (так женщина прикладывает к платью драгоценные пуговицы, полученные в подарок, чтобы видеть, как они будут смотреться) с усвоенными когда-то романтическими понятиями (например, понятием о том, что меня может полюбить женщина, что мы можем жить с ней общей жизнью), которые вырвались на свободу благодаря холодности Альбертины, преждевременному отъезду Жизели, а до того – добровольной и слишком затянувшейся разлуке с Жильбертой; и тут же я сопрягал с этими понятиями образы то одной, то другой встреченной девушки, а потом сразу пытался приспособить к ним воспоминание о герцогине. По сравнению с этими понятиями воспоминание о ней было не бог весть что, так, маленькая звездочка в конце длинного хвоста пылающей кометы; вдобавок сами понятия были мне хорошо известны задолго до знакомства с герцогиней Германтской, а вот воспоминание, напротив, было несколько зыбким, порой от меня ускользало; понадобилось немало часов, чтобы это смутно витающее во мне наравне с образами других привлекательных женщин воспоминание постепенно превратилось в единственную и окончательную, исключительную по отношению к любому другому женскому образу ассоциацию с романтическими понятиями, усвоенными мной задолго до него; за те несколько часов, пока оно сохранялось у меня в голове ярче всего, мне следовало бы догадаться, додуматься, что это, собственно, такое; но я тогда не знал, каким важным оно станет для меня; оно просто было сладостным, как первое свидание с герцогиней Германтской у меня в душе, и только этот первый набросок и был похож на оригинал, только он был срисован с натуры, только на нем герцогиня Германтская была настоящая; только в те несколько часов, пока я хранил это воспоминание, не слишком им дорожа, оно и было чарующим, потому что тогда к нему все время свободно, неторопливо, неустанно, без малейшего принуждения, без малейшей тревоги обращались мои понятия о любви; позже, по мере того как эти понятия все больше его укрепляли, оно с их помощью набрало силу, но стало еще более зыбким; вскоре я уже не мог его вернуть; и в мечтах я, конечно, совершенно его искажал, потому что всякий раз, когда я видел герцогиню Германтскую, я ощущал, причем всякий раз по-другому, этот зазор между тем, что я воображал, и тем, что видел. Я, конечно, по-прежнему, как только герцогиня показывалась в конце улицы, замечал ее высокий рост, лицо, озаренное ясным взглядом, легкие волосы – все то, ради чего приходил; но зато спустя



несколько секунд, когда, сперва отвернувшись, чтобы она не догадалась, что я пришел нарочно ради встречи с ней, а потом, поравнявшись с ней, я поднимал на нее взгляд, мне представало хмурое лицо, усеянное красными точками, не то от холодного воздуха, не то от кожного раздражения; на мое неизменное приветствие она отвечала холодным кивком, в котором не было ни следа той сердечности, что на представлении «Федры», а наоборот, мой поклон словно удивлял и раздражал ее. Тем временем образы двух девушек вели у меня в сердце неравную борьбу с образом герцогини за мою влюбленность, и все-таки через несколько дней именно память о герцогине стала всплывать чаще всего словно сама по себе, а ее соперницы поблекли; в конце концов я, в сущности по собственной воле, по своему выбору и для своего удовольствия, перенес на нее все свои любовные мысли. Я уже не думал ни о девушках, изучающих катехизис, ни о давешней молочнице, а между тем у меня исчезла всякая надежда найти на улице то, за чем я туда ходил, – нежность, которую посулила улыбка в театре, силуэт, ясное лицо, белокурые волосы; вблизи все это оказалось совсем не так. Теперь я даже не мог сказать, как выглядит герцогиня Германтская, по каким приметам я ее узнаю: общий облик оставался неизменным, но лицо что ни день менялось, так же как шляпа и платье.

Почему в какой-нибудь день я по охватившей меня счастливой дрожи понимал, что незря вышел из дому и повстречаюсь с герцогиней, когда видел издали, что ко мне приближается под сиреневой шляпкой кроткое и гладкое лицо, чье очарование симметрично распределено вокруг двух синих глаз, а линия носа словно расплывается? Почему я испытывал такое же волнение, так же притворялся равнодушным, так же рассеянно отводил взгляд, как накануне, когда на боковой улице возникали под шапочкой цвета морской волны видимые в профиль нос, похожий на птичий клюв, и румяная щека, перечеркнутая пронзительным взглядом, словно у какой-нибудь египетской богини? А однажды это оказалась не женщина с птичьим клювом, а точь-в-точь настоящая птица: платье герцогини скрывалось под мехами, и даже шапочка была меховая, так что платья было совсем не видно и казалось, что сама она от природы покрыта шерсткой, как какой-нибудь гриф, обросший толстыми, густыми, взъерошенными и мягкими перьями, напоминающими мех. Посреди всего этого природного оперения виднелась маленькая головка, а на ней изгибался клювик и таращились пронзительные синие глаза навывкате. В такой-то день я часами ходил взад и вперед по улице, не замечая герцогини, как вдруг в глубине лавочки, торгующей молоком, притаившейся в этом аристократически-простонародном квартале между двумя особняками, мне виделось размытое и незнакомое лицо элегантной дамы, рассматривавшей творожные сырки, и прежде чем я успевал ее рассмотреть, меня, словно молния, которую замечаешь прежде чем охватишь всю картину целиком, настигал взгляд герцогини; в другой раз, так ее и не встретив, я слышал, как бьет полдень, и, понимая, что ждать больше не имеет смысла, понуро брел к дому; приуныв, я невидящим взглядом провожал какую-то карету, как вдруг понимал, что дама в карете, чьи бледные, безвольные или, наоборот, напряженные и полные жизни черты под круглой шляпой, увенчанной высокой эгреткой, складываются в лицо незнакомки, которую я, казалось, не узнавал, кивнула не кому-нибудь, а мне, и что эта дама не кто иная, как герцогиня Германтская, причем она со мной поздоровалась, а я ей даже не ответил. А иногда я сталкивался с ней у входа в дом, перед ложей швейцара, чьи испытующие взгляды были мне ненавистны; он рассыпался перед ней в приветствиях, а заодно, по-видимому, ябедничал. И вся прислуга Германтов с трепетом следила за их диалогом, прячась за шторами, хотя ничего не могла расслышать, а в результате кто-нибудь из слуг, на которого сплетник-швейцар «донес», лишался выходного. Передо мной являлись одно за другим разные лица герцогини Германтской, занимавшие то большее, то меньшее пространство в общем ее облике, но любовь моя не была прикована к какой-то одной части ее плоти или наряда, сменявших друг друга день ото дня; она могла почти полностью преображать их и обновлять, но волнение мое оставалось неизменным, потому что я видел: и новая пелеринка, и незнакомая щека принадлежат все той же герцогине Германтской. Я любил ту невидимку, что



приводила все это в движение; меня печалила ее враждебность, меня завораживало ее приближение, мне хотелось проникнуть в ее жизнь и разогнуть ее друзей. Все равно, с голубым перышком или с алым румянцем, – все, что она делала, оставалось для меня важнее всего.

Сам бы я наверно не догадался, что надоедаю герцогине этими ежедневными встречами, но я косвенным образом понял это по замкнутому, неодобрительному и жалостливому выражению на лице Франсуазы, помогавшей мне одеваться для утренних прогулок. Как только я просил, чтобы она принесла мой костюм, в ее изможденных, усохших чертах явственно проступал дух противоречия. Я даже не пытался завоевать доверие Франсуазы: я чувствовал, что это невозможно. Каким-то образом, я никогда не мог понять каким, она всегда знала наперед обо всех неприятностях, которые могли произойти с родителями и со мной. Возможно, в этом не было ничего сверхъестественного, просто информация поступала к ней особыми, лишь ей доступными путями; так дикие племена узнают новости за несколько дней до того, как почта доставит их европейцам-колонистам, но получили они их не с помощью телепатии, а благодаря огням на холмах, которые зажигают туземцы. Так, что касается моих прогулок, может быть, слуги герцогини Германтской слышали, как она жалуется, что ей надоело вечно на меня наткаться, и пересказали это Франсуазе. В сущности, если бы родители приставили ко мне другую прислугу вместо Франсуазы, я бы на этом ничего не выиграл. В каком-то смысле во Франсуазе было меньше от служанки, чем во всех остальных. Она и чувствовала по-другому, бывала то доброй и милосердной, то жестокой и высокомерной, хитрой, но ограниченной, кожа у нее была белая, а руки красные: она была настоящей деревенской барышней, чьи родители сперва «жили припеваючи», а потом разорились и пришлось их дочке поступить в услужение. Ее присутствие в нашем доме было все равно что деревенский воздух и жизненный уклад на ферме пятидесятилетней давности, которые перенесли к нам как-то вспять, словно загородная жизнь к путешественнику. Как витрина в провинциальном музее, украшенная своеобразными изделиями, какие кое-где донны шьют и отделывают по краям тесьмой крестьянки, наша парижская квартира украшалась речами Франсуазы, которые были подсказаны ей чутьем к преданию, вынесенному из родных мест, и опирались на древнейшие правила. Она умела, будто цветной ниткой, наметить словами и вишни, и птиц своего детства, и кровать, на которой умерла ее матушка, – эта кровать стояла у нее перед глазами. Но несмотря на все это, как только она переехала в Париж и поступила к нам на службу, она стала разделять идеи и произвольные суждения слуг с других этажей (впрочем, на ее месте это делал бы кто угодно) и вознаграждала себя за почтение, которое обязана была к нам питать, пересказывая нам, какие дерзости говорит своей хозяйке кухарка с пятого этажа, причем с таким удовольствием, что мы впервые начинали испытывать что-то вроде солидарности с несносной соседкой с пятого этажа и, пожалуй, впервые чувствовали, что мы все-таки господа. Наверное, эти перемены в характере Франсуазы были неизбежны. Иное существование столь выбивается из общепринятых норм, что неизбежно порождает какие-нибудь пороки: это относится к жизни короля в Версале, окруженного придворными, или к не менее странной жизни фараона, или дожа, или королевских придворных, чья жизнь еще причудливее королевской. Существование слуг отличается еще более чудовищной странностью, и мы не замечаем этого только по привычке. Но даже если бы я отказался от Франсуазы, я был обречен постоянно иметь дело с одной и той же прислугой и терпеть от нее мелкие несообразности. Позже место Франсуазы занимали самые разные люди, но все они уже обладали общими недостатками, присущими слугам, да еще и рядом со мной быстро обрастали новыми. Каждый выпад предполагает определенный ответный удар; вот так, чтобы шероховатости моего характера не задевали их, они вырабатывали в своем собственном характере углубление, точно соответствующее торчащему выступу в моем, зато там, где у меня оказывался прорыв в обороне, они выдвигали свою позицию вперед. Сам я не сознавал своих слабых мест, как не сознавал и бросков вперед, которые были возможны именно потому, что противная сторона в этом месте сдавала позиции. Но по мере того, как мои



слуги портились, они открывали мне глаза на мои слабости. По тем недостаткам, которыми они неизменно обрастали, я узнавал собственные недостатки, врожденные и неизменные; их характеры служили мне чем-то вроде негатива моего собственного. Когда-то мы с мамой очень потешались над г-жой Сазра, говорившей о слугах: «это племя, эта порода». Но должен сказать, что я потому и не собирался менять Франсуазу на кого-нибудь другого, что другой все равно неизбежно принадлежал бы к племени слуг вообще и к породе моих слуг в частности.

Возвращаясь к Франсуазе, ни разу в жизни не пришлось мне испытать унижение без того, чтобы заранее не прочесть на лице Франсуазы заготовленного впрок сочувствия; а если ее жалость бесила меня и я пытался, наоборот, напустить на себя победительный вид, мое при творство неуклонно разбивалось о ее почтительное недоверие и сознание собственной непогрешимости. Она всегда знала правду, хотя и помалкивала о ней, а только делала губами такое движение, будто дожевывает кусок. Она помалкивала, во всяком случае долгое время я так думал, потому что в те времена еще воображал, что правду передают с помощью слов. Слова, которые я слышал, надежно внедряли свое незыблемое значение в мой чуткий мозг, и я даже мысли не допускал, что кто-нибудь может мне сказать, что он меня любит, а на самом деле он меня не любит, и в этом я не уступал той же Франсуазе, которая без малейшего сомнения читала в газете, что один священник или просто какой-то господин в ответ на требование, отправленное по почте, пришлет нам бесплатно лекарство от всех болезней или совет, как в сто раз умножить наш доход. (Зато когда наш врач давал ей простейшую мазь от насморка, она, столь бесчувственная к самым ужасным страданиям, стонала, что ей пришлось втянуть в себя страшную гадость, уверяла, что у нее изнутри весь нос горит и что никаких нет сил терпеть.) Но Франсуаза первая показала мне на примере (хотя я понял это лишь много времени спустя, когда получил новые и мучительные тому доказательства, как будет видно из последних томов этой книги, причем получил их от существа, которое было мне намного дороже), что правда узнается не из того, что нам говорят, и, быть может, чтобы ее узнать, не нужно ждать слов и даже не нужно, в сущности, их понимать: правда проявляется в мельчайших внешних признаках, а то и в каких-то невидимых глазу явлениях, которые в мире характеров подобны атмосферным изменениям в мире природы. Я бы, пожалуй, мог об этом догадаться, ведь мне и самому в то время часто доводилось произносить слова, в которых не было ни капли правды, о чем невольно свидетельствовало множество моих движений и поступков (и Франсуаза прекрасно умела их истолковать); я бы, пожалуй, мог об этом догадаться, но ведь я тогда и сам не знал, что время от времени лгу и мошенничаю. Причем ложь и мошенничество рождались у меня, как у всех прочих, мгновенно и произвольно, чтобы защитить нечто для меня важное и нужное, поэтому мой ум, устремленный к высокому идеалу, не мешал моему характеру творить исподтишка эти срочные и жалкие делишки и не устаивал их внимания. Когда вечерами Франсуаза ласково спрашивала разрешения посидеть у меня в комнате, ее лицо казалось мне прозрачным, я видел ее искренность и доброту. Но Жюльен, не гнушавшийся сплетнями, о чем я тогда не подозревал, передавал мне позже, что она говорила, будто я полное ничтожество, негодяй и всегда рад ей напасть. Эти слова Жюльена сразу же развернули перед моими глазами новый снимок с наших с Франсуазой отношений, выполненный в незнакомых мне тонах, совсем непохожий на тот, ясный и четкий, которым я так часто любовался и на котором Франсуаза меня обожала и не упускала случая похвалить; и я понял, что не только мир физических явлений выглядит по-разному, смотря по тому, как мы его видим, но, вероятно, любая реальность отличается от того, что мы, как нам представляется, наблюдаем непосредственно: деревья, солнце и небо оказались бы совсем не такими, как мы их видим, если бы у тех, кто на них смотрит, глаза были устроены по-другому или если бы эти существа воспринимали все не глазами, а другими органами, которые представляли бы им деревья, небо и солнце не зрительными образами, а как-нибудь иначе. Как бы то ни было, благодаря Жюльену передо мной разверзся просвет, сквозь который я увидел реальный мир, и это меня потрясло.



А ведь речь шла всего-навсего о Франсуазе, о которой я не так уж беспокоился. Но разве и во всех отношениях между людьми не то же самое? И до какого отчаяния я могу прийти, если то же происходит и в любви? Но этот секрет ждал меня в будущем. Сейчас речь шла еще только о Франсуазе. Искренне ли она верила в то, что говорила Жюльену? Или просто хотела поссорить меня с Жюльеном, может быть, для того, чтобы дочку Жюльена не взяли на ее место? Так или иначе, я понял, что невозможно прямо и непосредственно убедиться в том, что Франсуаза меня любит или терпеть не может. И она первая заронила во мне мысль о том, что человек не предстает нам в ясном и неизменном виде, как я считал раньше, со всеми его достоинствами, недостатками, планами, намерениями по отношению к нам (как сад со всеми его клумбами, когда мы смотрим на него сквозь ограду); человек – это тень, в которую мы не в силах проникнуть, которую невозможно изучить непосредственно; мы создаем себе на его счет разные верования с помощью его слов и даже поступков, но и те и другие дают нам неполные, да к тому же и противоречивые сведения; это тень, сквозь которую, как мы воображаем, поочередно и все так же правдоподобно сверкает то ненависть, то любовь.

Я в самом деле любил герцогиню Германтскую. Величайшим счастьем, о котором я мог молить Бога, было бы для меня, чтобы он обрушил на нее все мыслимые бедствия, чтобы она лишилась крова, чтобы все от нее отвернулось и чтобы она, разоренная, обесчещенная, утратившая все привилегии, разделявшие нас с ней, пришла ко мне просить убежища. Я воображал, как это будет. Подчас вечерами из-за каких-нибудь перепадов в погоде или в моем здоровье перед моим мысленным взором разворачивался забытый свиток, на котором были записаны впечатления из прошлого, но вместо того чтобы воспользоваться рождавшимися во мне новыми силами, вместо того чтобы с их помощью расшифровать собственные мысли, обычно от меня ускользавшие, вместо того чтобы взяться наконец за дело, я принимался говорить вслух сам с собой, возбужденно думал о чем-то внешнем, и все это выливалось в ненужные речи и движения, в сущий приключенческий роман, бесплодный, фальшивый, где впадшая в нищету герцогиня молила меня о помощи, а я по воле обстоятельств был уже, наоборот, богатым и могущественным. Так я часами выдумывал обстоятельства, произносил фразы, которые скажу герцогине, принимая ее под своим кровом, и все оставалось по-прежнему; увы, в реальной жизни моя избранница соединяла в себе, пожалуй, все мыслимые преимущества, а потому я никак не мог надеяться, что сумею ее чем-нибудь пленить; она была богата, как первые богачи, да к тому же еще и знатна, не говоря уж о ее женском обаянии, благодаря которому она была законодательницей мод и царила надо всеми.

Я чувствовал: ей не нравится, что я каждое утро попадаюсь ей навстречу, но даже если бы у меня хватило духу два-три дня удержаться и, жертвуя собой, остаться дома, она, скорее всего, не заметила бы моего отсутствия или приписала его какой-нибудь помехе, от меня не зависящей. А я на самом деле никак не мог перестать попадаться у нее на пути, разве что исхитриться и подстроить самому себе какое-нибудь препятствие, несовместимое с выходом из дому, ведь сильнее страха ей не угодить была во мне непрестанная потребность встречаться с ней, на миг завладеть ее вниманием, не пропустить ее приветственного кивка. Мне бы следовало на некоторое время уехать, но духу не хватало. Иногда я об этом подумывал. Тогда я говорил Франсуазе собрать мои чемоданы, а потом сразу просил их распаковать. Но нас всех искушает бес передразнивания, да к тому же мы боимся прослыть старомодными, а потому отмечаем самые надежные и естественные формы самовыражения; и вот, заимствуя слово из лексикона племянницы, Франсуаза говорила, что я псих. Она этого не любила, обычно она говорила, что я «в сомнениях», потому что, когда ей не приходила охота соперничать с молодежью, она предпочитала язык Сен-Симона<sup>26</sup>. Правда, еще меньше она любила, когда я разговаривал как хозяин.

<sup>26</sup> ...она предпочитала язык Сен-Симона. – Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675–1755) – придворный Людовика XIV и регента Филиппа Орлеанского, автор «Мемуаров», охватывающих период с 1691 по 1723 г. Пруст часто обращается к Сен-



Она знала, что такое поведение мне не свойственно и не подобает; она выражала это по-своему: «не к лицу вам командовать». У меня достало бы духу уехать из дому только ради того, чтобы приблизиться к герцогине Германтской. И в этом не было ничего невозможного. В самом деле, каждое утро я болтался по улице, одинокий, униженный, удрученный тем, что ни одна мысль, которой я хотел с ней поделиться, никогда до нее не дойдет, и эти прогулки могли продолжаться до бесконечности, нисколько не помогая мне достичь цели, — а ведь я бы мог приблизиться к герцогине Германтской, если бы уехал за много лье от нее к каким-нибудь ее знакомым, весьма взыскательным в выборе друзей, но ко мне относившимся благожелательно, и эти люди могли бы упомянуть ей обо мне и пусть не добиться от нее всего, к чему я стремился, но хотя бы рассказать ей о моих желаниях; пускай бы я вместе с этими людьми просто подумал, не смогут ли они передать ей то-то и то-то, и благодаря им мои одинокие, немые мечты приняли бы новый облик, вылились в слова, поступки — и это бы стало уже шагом вперед, почти исполнением желания. Я беспрестанно грезил о том, как она, воплощение «Германтов», живет своей таинственной жизнью, мечтал проникнуть в эту жизнь, пускай не напрямую, а пользуясь как рычагом каким-нибудь общим знакомым, кому не заказан путь в особняк герцогини и на ее вечера, кто имеет право подолгу беседовать с ней; может быть, обратиться к ней издали было бы полезней, чем каждое утро предаваться созерцанию?

Мне казалось, что я ничем не заслужил ни дружбы Сен-Лу, ни его восхищения, и мне они были безразличны. Внезапно я их оценил: мне захотелось, чтобы он поделился ими с герцогиней Германтской, я готов был его об этом попросить. Влюбленный жаждет поведать любимой женщине обо всех своих скромных преимуществах, — обычно так поступают люди обездоленные и надоедливые. Этим обожателям мучительно сознавать, что их преимущества ей неизвестны, и они утешаются мыслью, что она, наверно, подозревает за ними какие-нибудь неведомые достоинства именно потому, что сами они никогда не попадают ей на глаза.

Сен-Лу уже давно не приезжал в Париж, не то из-за службы, как он сам говорил, удерживавшей его на месте, не то, скорее, от горя, которое причиняла ему любимая женщина: он уже дважды был на грани разрыва с ней. Он много раз говорил, как было бы хорошо, если бы я приехал к нему в гарнизон, название которого так меня обрадовало на другой день после его отъезда из Бальбека, когда я прочел это название на конверте первого же письма, присланного другом. Гарнизон располагался ближе к Бальбеку, чем можно было подумать судя по пейзажу, в котором не чувствовалось никакой близости к морю; это был один из тех аристократических и военных городков, окруженных просторными полями, где в ясные дни часто стоит вдали какая-то прерывающаяся звонкая дымка; и как тополя высятся изогнутым занавесом, отмечающим излучины невидимой реки, так эта дымка отмечает перемещения полка во время маневров; и сама атмосфера улиц, проспектов, площадей этого городка со временем вобрала в себя непрестанное военно-музыкальное мерцание, так что самый грубый грохот телеги или трамвая постепенно переходил в чуть слышные сигналы горна, бесконечно отдающиеся в ушах, оглушенных тишиной. Городок был так близко от Парижа, что я мог приехать скорым поездом, вернуться домой, увидеть маму, бабушку и лечь спать в собственной постели. К тому времени как я это понял, я был измучен болезненным желанием, и мне не хватило духу решить, что я не возвращаюсь немедленно в Париж и остаюсь здесь; но ни на что другое мне тоже не хватило духу, и я не остановил слугу, который уже понес мой чемодан к фиакру, и сам пошел за ним с пустотой в душе, как положено путешественнику, присматривающему за багажом и не думающему ни о какой бабушке, которая его ждет, и сел как ни в чем не бывало в экипаж, будто знал, чего хочу (хотя на самом деле я вообще уже не думал, чего хочу), и дал кучеру адрес кавалерийской части. Я рассчитывал, что Сен-Лу переночует в эту ночь со мной в гостинице,



чтобы мне было не так тоскливо при первом соприкосновении с незнакомым городом. Часовой пошел его искать, а я ждал у дверей казармы, большого здания, похожего на корабль, содрогавшийся от гулкого ноябрьского ветра, откуда то и дело, поскольку было уже шесть часов вечера, выходили на улицу по двое люди, враскачку, словно причалили ненадолго в каком-то экзотическом порту.

Появился Сен-Лу, весь подвижный, как на шарнирах; перед ним порхал его монокль; я не назвался часовому: мне хотелось насладиться радостным удивлением друга.

Внезапно он меня заметил и, покраснев до ушей, воскликнул:

– Нет, какая досада! Я только что заступил на дежурство и всю неделю не выйду за пределы казармы!

И, беспокоясь о том, как я буду ночевать один эту первую ночь, – ведь он лучше всех знал, какие приступы тревоги бывают у меня по вечерам, потому что в Бальбеке часто замечал их и облегчал мне как мог, – он сетовал, умолкал, оборачивался ко мне, улыбался, посылал мне разнообразные взгляды, то напрямую, то через монокль, и во всем этом сквозил намек на чувство, охватившее его при моем появлении, а также другой намек – на нечто важное, чего я по-прежнему не мог себе объяснить, но теперь это стало важно и для меня: это была наша дружба.

– Боже мой, где же вам ночевать? Честно говоря, не могу вам посоветовать ту гостиницу, где мы живем, она по соседству с выставкой, там скоро начнутся праздники и будет твориться полное безумие. Нет, лучше вам выбрать гостиницу «Фландрия», это старинный маленький дворец XVIII века, даже древние шпалеры сохранились. Все смотрится «старинным» и «историческим».

Сен-Лу при каждом удобном случае говорил «смотрится» вместо «выглядит», потому что разговорный язык, как и письменный, время от времени нуждается в этих легких изменениях смысла слов, в более изощренном его выражении. И точно так же как журналисты часто не знают, из какой литературной школы взялись заимствованные ими «красоты», так и Сен-Лу был обязан своим словарем и даже слогом трем разным эстетам, о которых он понятия не имел, но бессознательно усвоил навязанный ими стиль. «К тому же, – заключил он, – эта гостиница вполне приспособлена к вашей слуховой гиперестезии. У вас не будет соседей. Это, конечно, хилое преимущество, завтра может приехать другой постоялец, так что выбирать эту гостиницу по таким ненадежным критериям не стоит. Но я ее вам советую из-за ее убранства. Номера очень славные, мебель вся старинная и удобная, в этом есть что-то надежное». Но я не обладал такой артистической натурой, как Сен-Лу, уютное жилье приносило мне лишь поверхностное удовольствие и не могло успокоить начинавшуюся тревогу, такую же томительную, как когда-то в Комбре, когда мама не приходила сказать мне спокойной ночи, или в день приезда в Бальбек, в комнате со слишком высоким потолком, пропахшей ветиверией. Сен-Лу догадался об этом по моему остановившемуся взгляду.

– Но вам же не до этого симпатичного дворца, милый вы мой, вы совсем побледнели, я-то, скотина, толкую вам тут о шпалерах, а вам на них и посмотреть не захочется. Я знаю комнату, в которую вас поселят, мне лично она кажется веселенькой, но вы с вашей чувствительностью – дело другое. Не думайте, что я не понимаю, я сам этого не испытываю, но представляю себя на вашем месте.

Во дворе какой-то унтер-офицер гонял лошадь, пускал ее вскачь и так увлекся, что не отвечал на приветствия солдат, зато обрушивал на тех, кто оказывался у него на дороге, залпы ругани; он улыбнулся Сен-Лу и, заметив, что тот не один, а с другом, поздоровался. Но в этот момент лошадь, вся в пене, встала на дыбы. Сен-Лу бросился вперед, схватил ее за уздечку, мигом усмирив и вернулся ко мне.

– Да, – сказал он, – уверяю вас, я все понимаю и сам страдаю, когда вам плохо; мне больно думать, – продолжал он, ласково положив мне руку на плечо, – что, если бы я мог побыть с



вами, я бы сумел, может быть, поболтать с вами до утра и тем немного утешить вас в печали. Я готов дать вам сколько угодно книжек почитать, но вы же не сможете читать, если вам будет не по себе. И мне никак не удастся найти себе замену: я это делал уже два раза подряд, когда приезжала моя подружка.

И он нахмурился от огорчения, а заодно и от озабоченности, как врач, который пытается подобрать мне лекарство.

– Разведи скорее огонь в моей комнате, – сказал он проходившему мимо солдату. – Ну давай же, пошевеливайся, живей.

Потом снова обернулся ко мне, и монокль вместе с близоруким взглядом вновь напомнили о нашей дружбе.

– Невероятно! Вы здесь, в этой казарме, где я столько о вас думал, просто глазам не верю, мне кажется, что это сон. Ну что, здоровье как будто получше? Сейчас вы мне всё об этом расскажете. Давайте уйдем со двора, поднимемся ко мне, ветер невыносимый, я его даже уже не чувствую, но вы-то не привыкли, как бы вам не замерзнуть. А за работу взялись? Нет? Смешной вы человек! Будь у меня ваши способности, я бы, кажется, писал с утра до вечера. Вам больше нравится сидеть без дела. Какая жалость, что посредственности вроде меня всегда готовы трудиться, а те, кому это дано, не хотят! И я еще даже не спросил вас о том, как поживает ваша бабушка. Я не расстаюсь с ее Прудомом.

В это время по лестнице медленными шагами спустился высокий, красивый, величественный офицер. Сен-Лу приветствовал его и на миг перестал вертеться, покуда его рука взлетала к козырьку кепи. Но он выбросил руку таким энергичным движением, выпрямился так резко, что, как только приветствие завершилось, она упала так стремительно, внезапно изменив положение плеча, ноги и корпуса, что все тело не столько замерло в неподвижности, сколько натянулось, как струна, и это напряжение погасило все жесты, – и предыдущие, и те, что готовились. Между тем офицер, невозмутимый, благожелательный, важный, величавый, словом, полная противоположность Сен-Лу, тоже неторопливо поднес руку к козырьку кепи.

– Мне нужно переговорить с капитаном, – шепнул мне Сен-Лу, – пожалуйста, подождите у меня в комнате, на четвертом этаже, вторая дверь направо, я очень скоро приду.

Он торопливыми шагами (монокль порхал во все стороны впереди) направился прямо к достойному и неспешному капитану, которому как раз подвели коня, и он, прежде чем вскочить в седло, раздавал приказы, сопровождая их прекрасно отработанными благородными жестами, будто заимствованными с батального полотна, – словно воин Второй империи собирался в бой, а ведь он просто уезжал к себе домой, на квартиру, которую снимал в Донсьере<sup>27</sup>, причем квартира этого наполеонида, словно по иронии судьбы, была расположена на площади Республики! Я поднялся по лестнице, то и дело рискуя поскользнуться на обитых гвоздями ступеньках, и пошел по коридору, заглядывая по дороге в спальни с голыми стенами, где в два ряда выстроились кровати и воинское снаряжение. Мне показали комнату Сен-Лу. Я немного помедлил перед закрытой дверью, потому что за ней что-то происходило; какой-то предмет передвинули, другой уронили; я чувствовал, что комната не пустует, что там кто-то есть. Но это шумел огонь в камине. Он никак не мог гореть спокойно, он ворочал поленья, причем весьма неуклюже. Я вошел; он как раз покатило одно полено и начал дымить другим. И даже когда он не шевелился, он, как какой-нибудь мужлан, все время производил какие-нибудь звуки; пока я на него смотрел, я слышал, что это трещит огонь, но, будь я по ту сторону стены, я бы решил, что там кто-то сморкается и ходит по комнате. Наконец я сел. Обои либерти и старинные немецкие ткани XVIII века не пропускали в комнату запах, которым было пропитано все здание, грубый, затхлый и с гнильцой, как пеклеванный хлеб. Здесь, в этой очаровательной комнате,

---

<sup>27</sup> Донсьер – так же, как Бальбек, вымышленный город, но отчасти он вообрал в себя черты Орлеана, где Марсель Пруст с 1889 по 1890 г. проходил военную службу.



мне было бы так хорошо и спокойно пообедать и заснуть. Мне почти казалось, что сам Сен-Лу где-то здесь, потому что на столе лежали книги, с которыми он работал, а рядом фотографии, среди которых я заметил свою и герцогини Германтской, и огонь наконец освоился с камином и, подобно зверю, замершему в страстном, безмолвном и истовом ожидании, только изредка выстреливал угольками, которые тут же крошились на мелкие искры, или языком лизал стенку камина. Я слышал, как тикают часы Сен-Лу, вероятно, они лежали где-то близко. Но тиканье все время перемещалось, потому что самих часов я не видел; мне казалось, что оно звучит позади меня, впереди, справа, слева, а иногда делается тише, словно донеслось издалека. Внезапно я обнаружил часы на столе. Теперь я слышал тиканье все время в одном и том же месте, больше оно никуда не девалось. Я воображал, что слышу его в этом месте, но на самом деле я не слышал, а видел, у звуков места не бывает. Правда, мы связываем их с движениями, так что они приносят пользу, предупреждая нас о том, что предметы сдвинулись с мест, и убеждая, что эти перемещения необходимы и естественны. Конечно, бывает иногда, что какой-нибудь больной, которому плотно заткнули уши, не слышит, как огонь копошится, вот как теперь, в камине у Сен-Лу, как кропотливо мастерит головешки и золу, а потом роняет их в свою корзину; он не слышит проходящего трамвая, чья музыка через равные промежутки времени разлетается над главной площадью Донсьера. Он читает себе, и страницы переворачиваются беззвучно, словно их листает Господь Бог. Тяжеловесный шум наполняющейся ванны становится тише, легче и удаляется, как небесный щебет. Когда звук отодвигается от нас, делается тоньше, мы больше уже не чувствуем в нем никакой угрозы для себя; только что мы сходили с ума из-за ударов молотка, которые, казалось, разнесут вдребезги потолок у нас над головой, и вот уже нам нравится ловить те же самые звуки, легкие, ласкающие слух, дальние, как щебет листвы, играющие с зефиром где-то на дороге. А когда мы раскладываем пасьянс на картах, не слыша их, нам кажется, что мы их не перекладывали, что они шевелятся сами собой и, предвосхищая наши желания, затеяли с нами игру. И кстати, можно задуматься вот над чем: не следует ли с Любовью (а заодно с жизнелюбием и любовью к славе, потому что, как говорят, некоторым людям эти чувства известны) вести себя, как тот, кто при шуме не умоляет, чтобы он прекратился, а затыкает себе уши; не лучше ли по его примеру переключить наше внимание и оборонительный инстинкт на себя самих, да и самим замкнуться в себе, облегчить себе задачу, заняться не другим существом, которое мы любим, а собственной способностью страдать из-за этого существа.

Возвращаясь к звуку, можно уплотнить ватные шарики, затыкающие слуховой проход, и они заставят девицу, барабанившую у нас над головой бравурную пьеску, играть пианиссимо; а если шарик пропитать жиром, его деспотии немедля подчинится весь дом, его власть распространится даже на улицу. Пианиссимо уже недостаточно: шарик мгновенно захлопнет крышку рояля и урок музыки прервется; господин, который расхаживал у нас над головой, внезапно замрет на месте; машины и трамваи встанут, словно ожидается приезд главы государства. И наступившая тишина, иногда вместо того чтобы охранять наш сон, даже мешает уснуть. Еще вчера постоянный шум непрестанно докладывал нам обо всем, что происходило на улице и в доме, а потом в конце концов усыплял, как скучная книга; сегодня на поверхности молчания, простершегося над нашим сном, нам таинственно слышится лишь самый сильный грохот, легкий, как вздох, не связанный ни с каким другим звуком, — и так настойчиво требует истолкования, что мы просыпаемся. А уберите на мгновение вату, защищавшую нашу барабанную перепонку, — и внезапно вселенную вновь озарит ослепительно светлый и яркий звук; стремительно вернется домой племя изгнанных шумов, и перед нами словно запоют ангелы-музыканты: это произойдет возрождение голосов. И вот уже пустынные улицы на мгновение заполнились быстрым стрекотом поющих трамваев: они налетают и снова уносятся вдаль. И даже больной у себя в комнате создает пускай не огонь, как Прометей, но все же шум от огня.



А делая ватные тампоны то толще, то тоньше, будто нажимаешь по очереди на две педали, регулирующие звуки внешнего мира.

Но бывает, что шумы исчезают не на краткий миг. Тот, кто полностью оглох, не может даже разогреть себе молоко, если не будет внимательно следить, убрав крышку, за белой гиперборейской пеленой, напоминающей снежный буран: этому предупреждению лучше подчиниться и, уподобясь Господу, заставившему расступиться воды, выключить электричество, потому что закипающее молоко уже вспухает судорожным яйцом, приподнимается то с одного боку, то с другого, набухает, вздымает и круглит колеблющиеся покровы, образованные складчатой пенкой, и вот уже один из них взметнулся перламутровой метелью, но если вовремя отключить ток и предотвратить электрическую бурю, пенка закружится и опадет, превратившись в лепестки магнолии. А если больной не успел быстро принять необходимые меры предосторожности, скоро его книги и карманные часы захлестнет молочным приливом, так что лишь верхушки будут виднеться над белой морской гладью, и придется ему звать на подмогу старую служанку, а она, будь он хоть выдающийся политик или великий писатель, скажет ему, что ума у него как у пятилетнего ребенка. А то еще в волшебной спальне, перед закрытой дверью, возникает какой-нибудь человек, которого только что тут не было: это гость, вы не слышали, как он вошел, и изъясняется он исключительно жестами, как в одном из нынешних кукольных театриков, таких желанных тому, кто потерял вкус к звучащему слову. Но ведь потеря одного из пяти чувств прибавляет миру столько же красоты, сколько и приобретение: и теперь наш полностью глухой человек с наслаждением гуляет по земле, превратившейся в эдем до сотворения звука. Самые высокие водопады разворачивают перед его взором свои хрустальные полотнища, спокойные, как море в штиль, как райские ручейки. До того, как он оглох, шум был для него формой восприятия, в которую облекались причины разных движений, поэтому, если предметы перемещаются беззвучно, ему теперь кажется, что они это делают беспричинно; лишенные какого бы то ни было звукового сопровождения, они словно действуют сами по себе, как живые: шевелятся, замирают, вспыхивают по собственной воле. Как доисторические крылатые чудовища, они взлетают сами по себе. В одиноком, без соседей, доме глухого прислуга и так, до того как хозяин полностью оглох, уже вела себя всё более сдержанно, а теперь по молчаливому уговору и вовсе превратилась в собрание немых, словно королевские придворные в феерии. А здание, которое глухой видит из окна, – казарма, церковь, мэрия – оказывается простой декорацией, тоже как на сцене. Если в один прекрасный день это здание обрушится, то поднимется облако пыли, во все стороны полетят обломки, но само здание, в котором материальности даже меньше, чем в театральном дворце, хотя стены у дворца тоньше, рухнет посреди волшебной вселенной так, что падение его тяжелых тесаных камней не замарает кристально чистой тишины ни единым вульгарным звуком.

Тишина в казарменной комнатке, где я очутился, была далеко не такой полной, но тут она прервалась. Открылась дверь, быстрыми шагами вошел Сен-Лу, роняя из рук монокль.

– Ах, Робер, как у вас хорошо, – сказал я. – До чего было бы прекрасно, если бы мне можно было здесь пообедать и переночевать!

И в самом деле, не будь это запрещено, как спокойно, как беспечно мне было бы здесь, под защитой безмятежной, бдительной и веселой атмосферы, которую поддерживала тысяча дисциплинированных и не ведающих тревоги воль, тысяча беззаботных умов, в этой многочисленной общине, что зовется казармой, где время принимает форму действия, где унылый колокол, отбивающий время, заменен радостной фанфарой, играющей сигналы, и ее голос – словно звучное воспоминание, рассеянное мелкой пылью, развеянное и застывшее облаком над городскими мостовыми; этот музыкальный голос уверен, что его слушают, ведь он передает не только приказ командира выполнять команду, но и совет мудрости быть счастливыми.

– Ах, так вам больше хочется ночевать здесь, рядом со мной, а не отправляться одному в гостиницу, – со смехом сказал мне Сен-Лу.



– Робер, жестоко с вашей стороны иронизировать, – возразил я, – вы же знаете, что это невозможно и что там мне будет ужасно плохо.

– Что ж, вы мне льстите, – отвечал он, – потому что я как раз догадался, что вам больше захочется остаться сегодня вечером здесь. И сейчас я ходил к капитану именно для того, чтобы спросить у него разрешения.

– И он разрешил? – воскликнул я.

– С легкостью.

– Я его обожаю!

– Ну, это слишком. А теперь дайте-ка я позову денщика и велю ему заняться нашим ужином. – добавил он.

Я отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Несколько раз заходили товарищи Сен-Лу, то один, то другой. Он всем давал от ворот поворот.

– Ну-ка проваливай.

Я просил, чтобы он позволил им остаться.

– Ни в коем случае, они вас уморят скукой: это люди совершенно некультурные, только и умеют говорить, что о скачках, да разве что еще о том, как лошадей чистить. И потом, я не хочу, чтобы они мне испортили драгоценные минуты, о которых я столько мечтал. Поймите, когда я говорю о том, какие ограниченные мои товарищи, я вовсе не имею в виду, что всем военным не хватает ума и кругозора. Ничего подобного. Наш командир – человек замечательный. Он читал курс лекций по военной истории, который построил как систему рассуждений и доказательств, наподобие алгебры. Это даже с эстетической точки зрения прекрасно, тут и индукция, и дедукция, вы бы не остались к этому равнодушны.

– Это тот самый капитан, что разрешил мне остаться здесь?

– Нет, боже упаси, тот, которого вы бог знает за что «обожаете», – дурак неопиcуемый. В том, что касается солдатского питания, жилья и обмундирования, он незаменим: часами занимается этим с сержантом и закройщиком. Вот его уровень. Кстати, он, как многие другие, глубоко презирает того замечательного офицера, о котором я вам рассказываю. Его все сторонятся, потому что он франкмасон и не ходит к исповеди. Нет, принц де Бородино ни за что не пригласит к себе этого мелкого буржуа. Какая все-таки наглость со стороны человека, чей прадед был скромным арендатором, и сам он, не будь наполеоновских войн, стал бы, по всей видимости, таким же арендатором. Впрочем, он и сам понимает, что в обществе он ни рыба и ни мясо. В Жокей-клуб этот так называемый принц почти не ходит: стесняется, – добавил Робер, который из духа подражания одинаково твердо усвоил и социальные теории своих учителей, и светские предрассудки родных и теперь сам не замечал, как любовь к демократии сочетается в нем с пренебрежением к имперской знати.

Я смотрел на фотографию его тетки и, думая о том, что Сен-Лу – владелец этой фотографии и мог бы ее, вероятно, мне подарить, ценил его еще больше и мечтал оказать ему множество услуг: в обмен на нее я бы ничего не пожалел. Ведь эта фотография была словно еще одна встреча с герцогиней Германтской, и более того, встреча надолго, как будто наши отношения зашли уже так далеко, что она остановилась возле меня в летней шляпке и впервые дала вдоволь полюбоваться припухлостью щеки, линией затылка, уголком бровей (до сих пор они были от меня скрыты, ведь она так поспешно проходила мимо, впечатления были так сбивчивы, воспоминания так мимолетны); если бы я мог наглядеться на все это, и на грудь, и на руки женщины, которую видел всегда только в глухом платье, это было бы для меня сладостным открытием и милостью. Эти линии, которые мне представлялись почти запретными для взгляда, – я мог бы их изучить, как в учебнике единственной геометрии, которая имела для меня цену. Позже, приглядевшись к Роберу, я обнаружил, что он и сам немного напоминает фотографию своей тетки, и тайна этого сходства взволновала меня не меньше, ведь даром что его черты не



были заимствованы у нее, но все-таки происхождение у них было общее. Черты герцогини Германтской были в моем представлении прищиплены к Комбре, однако и нос, похожий на ястребиный клюв, и пронзительные глаза пригодились также, чтобы изваять лицо Робера, правда, второй экземпляр оказался тоньше, кожа нежнее, но само его лицо можно было, в сущности, наложить на лицо его тетки. Я с жадностью узнавал в нем характерные черты рода Германтов, сохранившего всю свою особость в огромном мире, не затерявшегося в нем и стоящего особняком в своем небесно-орнитологическом величии: ведь он, этот род, как будто восходил к мифологическим временам и произошел от союза богини с птицей.

Робер, не понимая причин моего умиления, был тем не менее тронут. А я совсем растаял: меня разнежило тепло от камина и шампанское, от которого на лбу у меня выступили капельки пота, а на глазах слезы; шампанское было подано к куропаткам; я вкушал их с восторгом профана, обнаружившего вдруг в каком-то определенном образе жизни, доньше ему неизвестном, нечто, как он думал, несовместимое с этим самым образом жизни (будто вольнодумец, отменно пообедавший в гостях у священника). А проснувшись наутро, я подошел к окну Сен-Лу, очень высокому, из которого было видно далеко вокруг, и с любопытством стал рассматривать мою соседку, сельскую местность, которой накануне не заметил, потому что приехал слишком поздно, когда она уже спала, утонув в темноте. Но хотя проснулась она рано утром, я увидел ее, распахнув окно, так, как видел бы из окна замка или с берега пруда: она была еще вся закутана в мягкий белый утренний наряд, сотканный из тумана, сквозь который я почти ничего не разглядел. Правда, я знал, что не успеют солдаты во дворе почистить лошадей, как она сбросит свое одеяние. Пока что мне виден был только жалкий холм, уже освещенный солнцем, выгибавший худую и шероховатую спину напротив казармы. Сквозь ажурную занавеску изморози я, не отрывая взгляда, следил за этим незнакомцем, который впервые смотрел на меня. Но позже, когда я привык приходить в казарму, я все время помнил, что холм здесь, а значит, даже если я его не вижу, он реальнее, чем бальбекский отель, чем наш парижский дом, которые как будто умерли для меня, поскольку их здесь не было и я не очень-то верил в их существование; и незаметным для меня образом отраженная форма этого холма всегда накладывалась на все до одного мои донсьерские впечатления, а если говорить о первом утре — на приятное ощущение тепла, исходившее от шоколада, приготовленного денщиком Сен-Лу в этой уютной комнате, которая оказалась чем-то вроде оптического центра линзы, направленной на холм (мысль о том, чтобы не просто смотреть, а прогуляться к нему, представлялась неосуществимой из-за этого самого тумана). Туман, пропитавший очертания холма, связавшийся со вкусом шоколада и со всей тканью моих тогдашних мыслей, оросил все мои мысли того времени, даром что я думал о нем меньше всего на свете; так с бальбекскими впечатлениями осталось у меня связано немеркнущее цельное золото, а комбрейские помнились мне словно написанные гризайлью благодаря соседству наружных лестниц из черноватого песка. Впрочем, поздним утром туман рассеялся, солнце для начала пустило в него безо всякого успеха несколько стрел, изукрасивших его бриллиантами, но потом сломило его сопротивление. Холм подставил свой серый круп лучам, а они спустя час, когда я вышел в город, уже заражали восторгом красноту листьев, красноту и синеву предвыборных плакатов на стенах, и меня самого подхватил этот же восторг, погнал по улице, заставил петь, и я с трудом удержался от того, чтобы не запрыгать от радости.

Но на второй день мне уже пришлось спать в гостинице. А я знал заранее, что на меня неизбежно навалится тоска. Она была как неуловимый запах, с рождения пропитывавший мне каждую новую комнату, то есть вообще каждую комнату: ведь в той, где я обычно жил, меня как будто и не было: мои мысли блуждали в другом месте, а вместо себя оставляли только привычку. Но этой менее чувствительной служанке я не мог поручить заниматься моими делами на новом месте: я приехал сюда до нее, один, мне предстояло здесь как-то познакомиться со всей обстановкой мое «я», с которым я встречался редко, с перерывами в несколько лет, но каждый



раз это было все то же «я», не повзрослевшее со времен Комбре, с первого приезда в Бальбек, безутешно плакавшее на краешке разобранного чемодана.

Но я заблуждался. Я не успевал грустить, потому что ни на минуту не оставался один. В старинном дворце сохранился некий излишек роскоши, бесполезный в современной гостинице; оторвавшись от всякого практического применения, он жил своей праздной жизнью: коридоры, что бесцельно кружили, пересекаясь как попало и замыкаясь в самих себе; вестибюли, длинные, как коридоры, и отделанные, как гостиные; гостиные, казавшиеся не столько частью дома, сколько его обитательницами, которых не пускали ни в один номер, а потому они бродили вокруг моего и тут же явились предложить мне свое общество – досужие, но не беспокойные соседки, привидения низшего порядка, явившиеся из прошлого, которым дозволено было бесшумно маяться у дверей номеров, занятых жильцами, и каждый раз, когда я наткнулся на них по пути, они вели себя с молчаливой предупредительностью. В сущности, понятие жилья, места, где протекает сейчас наше существование, где мы просто укрываемся от холода и от посторонних людей, было совершенно неприложимо к этому дому, совокупности комнат, реальных, как сообщество жильцов, пускай бесшумных, но все-таки вам приходится с ними встречаться, или уклоняться от встреч, или приветствовать, возвращаясь домой. Я смотрел с невольным почтением на большую гостиную, которая с XVIII века усвоила привычку растягиваться между своими потускневшими от времени золочеными пилястрами, под облаками расписного потолка, и ее не хотелось беспокоить. Ее удивленно обегали бесчисленные комнаты и комнатки поменьше, вызывавшие во мне простое и дружелюбное любопытство; они ничуть не заботились о симметрии и в беспорядке разбегались во все стороны вплоть до самого сада, куда с легкостью спускались по трем выщербленным ступенькам.

Если я хотел незаметно войти или выйти, избежав лифта или главной лестницы, к моим услугам была лестничка поменьше, внутренняя, ею уже не пользовались: она подставляла мне ступеньки, так ловко пригнанные одна к другой, что казалось, в их градации была соблюдена идеальная пропорция, как в красках, вкусах или ароматах, где именно эта градация так часто возбуждает в нас особую чувственность. Но чтобы испытать это ощущение, спускаясь и поднимаясь по ступенькам, нужно было приехать сюда; так когда-то, лишь побывав на высокогорном курорте, я обнаружил, что от обычного дыхания можно получать чувственное наслаждение. Когда я впервые коснулся ногами этих ступенек, я ощутил такую свободу от усилий, какую дают только вещи, которыми мы долго пользовались: они были мне хорошо знакомы, хоть я никогда еще по ним не ходил, словно я уже предугадывал в них блаженство привычности, которое впиталось, вросло в них, заложенное прежними владельцами, ходившими по ним каждый день, но ко мне еще не пристало и, по мере того как я буду с ними осваиваться, могло только ослабеть. Я открыл спальню, двойные двери затворились за мной, портьера впустила тишину, опьянившую меня ощущением могущества; мраморный камин, украшенный медной литой решеткой, о котором напрасно было бы думать, что он годится только в образцы искусства времен Директории, оваял меня своим огнем, а коротконогое кресло помогло согреться со всеми удобствами, словно я сидел на ковре. Стены стискивали комнату в объятиях, отделяли от остального мира, а чтобы в нее вошло и уместилось все, что придавало ей завершенность, даже расступились перед книжным шкафом и предусмотрели углубление в том месте, где стояла кровать, по обе стороны которой колонны слегка приподымали потолок алькова. А в глубине спальня продолжалась двумя туалетными комнатами во всю ее ширину; на стене второй из них, чтобы напитать ароматом одинокую задумчивость, за которой ходил туда постоялец, висели излучавшие негу четки из семян ириса; и если, удаляясь в это последнее убежище, я оставлял двери открытыми, они не просто его утраивали, не просто радовали меня наряду с сосредоточенностью еще и созерцанием пространства, но и прибавляли к удовольствию от уединения, которого никто и ничто не может нарушить, чувство свободы. Этот приют выходил во двор, прекрасный одинокий двор, который я тоже рад был заполнить в соседях, когда



на другое утро его обнаружил: в нем, запертом между высокими стенами, почти лишенными окон, росло всего два пожелтевших деревца, которым все же удавалось придать чистому небу сиреневый оттенок.

Перед сном мне захотелось выйти из комнаты и осмотреться в моих феерических владениях. Я прошелся по длинной галерее, которая по очереди преподносила мне все, что имелось у нее в запасе на случай, если мне не захочется спать: кресло в уголке, спинет, синюю фарфоровую вазу на консоли, полную цинерарий, и, в старинной раме, призрак дамы былых времен, с напудренными волосами, перевитыми голубыми цветами, и с букетом гвоздик в руке. В конце галерея завершалась сплошной стеной, без единой двери; эта стена простодушно сказала мне: «Теперь иди назад, но ты же сам видишь, здесь ты дома», а мягкий ковер, чтобы не остаться в долгу, добавил, что если ночью я не засну, то спокойно могу прийти сюда босиком, а окна без ставней, выходявшие в поля, заверили меня, что они все равно не собираются спать и я могу приходить спокойно, когда захочу, не опасаясь никого разбудить. А за драпировкой я застиг только маленькую комнатенку, ей некуда было убежать, потому что дальше была стена, и вот она сконфуженно пряталась там, испуганно глядя на меня своим круглым окошком, синим от лунного света. Я лег, но перина, миниатюрные колонны и камин притянули мое внимание к тем меткам, которых не было в Париже, и помешали мне соскользнуть в область обычных грез. Именно в такие минуты наше внимание начинает стягиваться вокруг сна и влиять на него, видоизменять, соотносить с каким-нибудь рядом воспоминаний, и образы, наполнившие мои сновидения в ту первую ночь, пришли совсем из другой памяти, чем та, из которой обычно черпал их мой сон. Попытайся я во сне вновь нырнуть в привычную память, тогда и кровати, к которой я еще не успел приспособиться, и осторожности, требовавшейся от меня всякий раз, когда я ворочался в постели, – всего этого мне бы хватило, чтобы выровнять новое течение моих сновидений или хотя бы не отстать от него. Ведь сон все равно что восприятие внешнего мира. Стоит нам изменить своим привычкам – и вот он уже окрашен поэзией; стоит нам нечаянно уснуть прямо на кровати во время раздевания – и вот уже изменились масштабы сна, и мы почувствовали его красоту. Просыпаясь, видишь на часах четыре; это четыре утра, а не полудни, но нам представляется, что прошел уже целый день: сон продолжался всего несколько минут, причем мы вовсе и не собирались спать, но нам чудится, что он снизошел к нам с небес в силу некоего божественного права, огромный и круглый, как золотая императорская держава. По утрам, когда я с досадой думал, что дедушка уже готов и меня ждут, чтобы идти всем вместе в сторону Мезеглиза, меня будил полковой духовой оркестр, каждый день проходивший у меня под окнами. Но два-три раза – говорю это потому, что нельзя правдиво описать жизнь людей, если не омыть ее сном, в который она погружается и который ночью обтекает ее, как море обтекает полуостров, – так вот, два-три раза мой сон оказался настолько устойчивым, что вынес натиск музыки и я ничего не слышал. В другие же дни он рано или поздно поддавался, но сознание мое, словно орган, благодаря предварительному обезболиванию сперва вовсе не чувствующий прижигания, а потом принимающий его за легкий ожог, еще пряталось в бархатистой оболочке сна; острые иголки флейт казались ему нежными касаниями, ласкали, словно неразборчивый и свежий утренний щебет; так тишина превращалась в музыку, но после краткого перерыва опять возвращалась в мой сон даже раньше, чем успевали промаршировать драгуны, и похищала у меня последние цветки из бравурного букета звуков. И сфера моего сознания, задетая этими ослепительными стебельками, была так ограничена, сон настолько вводил ее в заблуждение, что позже, когда Сен-Лу меня спрашивал, слышал ли я музыку, я уже сомневался, не вообразил ли я себе опять звук оркестра, как когда-то по утрам, когда слышал малейший стук на городских мостовых. Может быть, я слышал его только во сне, боясь проснуться, или наоборот, не проснуться и пропустить шествие солдат. В самом деле, часто, когда я спал, а сам, наоборот, думал, что меня разбудил шум, я потом целый час воображал, что бодрствую, хотя на самом деле был погружен в дрему и на экране своего сна разыг-



рывал сам для себя разные спектакли, где исполнителями были легкие тени, причем мне чудилось, будто я присутствую на этих спектаклях, хотя это было невозможно: ведь я спал. Бывает в самом деле: засыпаешь, и вдруг оказывается, что все, чем ты занимался днем, произошло во сне – будто тебя столкнули, сонного, на другую дорогу, не ту, по которой бы ты прошел наяву. Та же самая история сворачивает в сторону и кончается иначе. Вопреки всему, мир, в котором мы живем, пока спим, настолько другой, что те, кому трудно засыпать, пытаются прежде всего выбраться из этого, нашего. Часами они, зажмурившись, безнадежно прокручивают в голове те же мысли, над которыми бились бы и с открытыми глазами, но затем приободряются, спохватившись, что рассуждение, которым была отягощена предыдущая минута, явно противоречит законам логики и простой очевидности, и этот короткий «провал» означает, что перед ними приоткрылась дверь, через которую им, пожалуй, удастся увильнуть от восприятия реальности, отойти от нее подальше и немного от нее отдохнуть, а это позволит им более или менее крепко уснуть. Но если удалось отвернуться от реальности, это уже важный шаг: мы достигли первых пещер, где «самовнушенья», как колдуньи, стряпают адское варево, воображаемые хвори или обострения нервных болезней, и караулят момент, когда начнется наконец кризис, нарастающий, пока мы спали и ничего не помнили, начнется и прервет наш сон.

Неподалеку раскинулся потаенный сад, где, подобно неведомым цветам, произрастают самые разные сны: сны, происходящие от дурмана, от индийской конопли, от множества эфирных эссенций, сон от белладонны, опиумный, валериановый сон, цветы, которые не размыкают своих лепестков, пока в один прекрасный день к ним не придет незнакомец, которому было суждено явиться, – и тогда он притронется к ним, и они раскроются, и долго будут испускать аромат своих особенных снов для восхищенного и изумленного человека. В глубине сада есть монастырский пансион, из его открытых окон слышно, как ученицы повторяют уроки, выученные перед сном: эти уроки они будут знать только проснувшись; но предвестием их пробуждения тикает внутренний будильник: его так хорошо завела наша тревога, что, когда хозяйка придет сказать, что уже семь часов, мы будем готовы. Из окон этой спальни видны сны, в ней беспрестанно трудится забвение любовных горестей; иногда его работу прерывает и разрушает какой-нибудь кошмар, полный смутной памяти, но забвение тут же вновь принимается за дело; по мрачным стенам спальни висят, даже когда мы проснемся, воспоминания о снах, но такие затемненные, что часто мы замечаем их впервые только в разгар дня, когда невзначай на них упадет луч в чем-то сходной мысли; иные из этих снов были ясны и гармоничны, пока мы спали, а потом стали так неузнаваемы, что, не сумев их распознать, мы только и можем, что поспешно предать их земле, как слишком быстро разложившихся мертвецов или как вещи, настолько пораженные порчей, что вот-вот рассыплются в пыль, так что самый искусный реставратор не сможет восстановить их форму и что-нибудь с ними сделать.

Возле ограды есть каменоломня: глубокие сны приходят сюда искать вещества, которые пронизывают голову спящего такими твердыми субстанциями, что невозможно его разбудить даже самым солнечным утром, пока его собственная воля не примется наносить удар за ударом секирой, как молодой Зигфрид<sup>28</sup>. По ту сторону есть еще и кошмары; врачи глупейшим образом уверяют, будто они изматывают больше, чем бессонница, хотя на самом деле они, наоборот, позволяют мыслителю ускользнуть от забот; кошмары разворачивают перед нами причудливые альбомы, там наши покойные родители – с ними приключился тяжелый несчастный случай, но есть надежда на скорое исцеление. А до тех пор мы держим эти кошмары в маленькой крысиной клетке, они меньше белых мышей и покрыты огромными красными прыщами, из которых торчат перья, и обращаются к нам с речами в духе Цицерона. Рядом с аль-

<sup>28</sup> ...*молодой Зигфрид*. – Имеется в виду герой оперы Рихарда Вагнера «Зигфрид» из цикла «Кольцо Нибелунга». Юный Зигфрид разбивает один за другим все мечи, которые выковал ему воспитатель, а затем сам себе кует меч настолько прочный, что его удар рассекает надвое наковальню.



бомом вращающийся диск будильника, из-за него на нас нападает мгновенный приступ тоски оттого, что нам сию минуту нужно вернуться в дом, который уже пятьдесят лет как разрушен, и по мере того как удаляется сон, изображение дома сменяется другим, третьим, четвертым, пока, наконец, диск не остановится, и тогда нам представится то, что мы увидим, когда откроем глаза.

Иногда я ничего не слышал, погруженный в один из тех снов, куда проваливаешься, как в нору, а потом радуешься, когда выберешься оттуда, отяжелевший, перекормленный, переваривая все то, что тебе принесли проворные вегетативные силы, подобные нимфам, вскормившим Геракла, – пока мы спали, они хлопотали с удвоенной силой.

Такой сон называют свинцовым; пробудившись от него, кажется, и сам на несколько мгновений превращаешься в простую свинцовую фигурку. Теперь ты никто. Ищешь ускользнувшую мысль, ищешь сам себя, как потерянную вещь, – но как же удастся в конце концов обрести собственное я, свое, а не чужое? Если задуматься, почему в нас воплощается та личность, что была раньше, а не какая-нибудь другая? Непонятно, чем продиктован наш выбор и почему из миллиона людей, которыми мы могли бы оказаться, мы цепляемся именно за того, кем были накануне? Что направляет нас после того, как произошел настоящий разрыв (например, полное погружение в сон или сновидения, не имеющие с нами ничего общего)? Это была настоящая смерть, как будто сердце перестало биться, и только ритмичные движения языка нас оживляют. Вероятно, комната, даже если мы видели ее всего один раз, пробуждает в нас воспоминания, за которые цепляются другие, более ранние. Или мы сознаем какие-то из них, дремавшие в нас? Воскрешение, или пробуждение ото сна, этого благодетельного приступа умопомешательства, похоже, в сущности, на то, что происходит, когда мы припоминаем чье-нибудь имя, или стихотворную строчку, или забытую песенку. И быть может, воскрешение души после смерти можно представить себе, как проявление памяти.

Я выныривал из сна; меня влекло залитое солнцем небо, но удерживала свежесть последних утр, ярких и холодных, с которых начинается зима; я смотрел на деревья, где листья были обозначены только одним-двумя золотыми или розовыми мазками, и казалось, будто они висят в воздухе, вплетенные в невидимую ткань; я поднимал голову, вытягивал шею, а тело еще наполовину пряталось под одеялом; как хризалида на пороге метаморфозы, я состоял из двух разных существ, и каждому из них требовалась своя среда: взгляду моему хватало красок без тепла, груди, наоборот, заботилась не о красках, а о тепле. Я вставал не раньше, чем разведут огонь, и смотрел на прозрачную, нежную картину сиреневого и золотистого утра, искусственно добавляя ему недостающую часть тепла, для чего помешивал угли в камине, пылавшем и дымившем, как хорошая трубка, и огонь, не хуже трубки, дарил мне наслаждение, одновременно и грубое, потому что основывалось на физическом ощущении, и утонченное, потому что за ним клубились, бледнея, чисто зрительные образы. На обоях в моей туалетной комнате по кричаще-красному фону были рассыпаны черные и белые цветы: я боялся, что мне не так легко будет к этому приспособиться. Но на самом деле я просто видел в них нечто новое, они приглашали не к ссоре, а к общению, придавали новый оттенок певучей радости моему пробуждению; по их настоянию в сердце у меня расцветало что-то вроде маков, и мир представлялся совсем иным, чем в Париже, когда я видел его из этого дома, похожего на веселую ширму, обращенного не в ту сторону, что родительский дом, и овеванного чистым воздухом. В иные дни меня точило желание увидеть бабушку или беспокойство о том, как она себя чувствует; а не то я вспоминал о каком-нибудь неоконченном деле, оставленном в Париже; иногда всплывало в памяти какое-нибудь затруднение, которым даже здесь я ухитрялся себя терзать. То та, то другая забота мешала мне спать, и я оказывался бессилен перед печалью, мгновенно заполнявшей все мое существо. Тогда я посылал из гостиницы кого-нибудь в казарму с запиской для Сен-Лу: я писал ему, что, если это возможно чисто практически (я знал, что это было очень трудно), я был бы рад, если бы он ко мне заглянул. Час спустя он был уже здесь, и, слыша



колокольчик у дверей, я чувствовал, как тревоги меня отпускают. Я знал, что они сильнее меня, но он сильнее, чем они, и внимание мое переключалось с них на него, от которого все зависело. Он входил и приносил с собой свежий воздух, окружавший его с утра, пока он успевал переделать множество дел; вокруг него устанавливалась живительная среда, такая непохожая на атмосферу моей комнаты, и я тут же естественным образом к ней приспособлялся.

– Надеюсь, вы не сердитесь, что я вас побеспокоил; мне как-то нехорошо на душе, вы, наверно, и сами догадались.

– Да нет, я просто подумал, что вам хочется меня увидеть, и я решил, что с вашей стороны это очень мило. Я страшно рад, что вы меня позвали. Так что же? дела так себе? Как вам услужить?

Он выслушивал мои объяснения, отвечал точно и ясно, но еще до того, как он начинал говорить, я под его влиянием становился похож на него; по сравнению с важными заботами, ради которых он всегда оставался таким проворным, бодрым, сосредоточенным, мои печали, еще недавно терзавшие меня каждую минуту, представлялись мне, как и ему, ничтожными; я был как человек, который несколько дней кряду не может открыть глаза, и вот он зовет врача, и тот ловко и нежно заворачивает ему веко, вынимает песчинку и показывает ее больному, избавляя его сразу и от недомогания, и от беспокойства. Все мои тревоги разрешались телеграммой, которую Сен-Лу брался отправить. Моя жизнь сразу так менялась, казалась мне такой прекрасной, я чувствовал в себе столько сил, что мне хотелось действия.

– Что вы сейчас будете делать? – спрашивал я у Сен-Лу.

– Расстанусь с вами: через три четверти часа у нас учения, мне нужно там быть.

– Вам было трудно ко мне вырваться?

– Нет, ничуть, капитан был очень любезен, он сказал, что, раз это ради вас, я непременно должен поехать, но мне не хотелось бы, чтобы он думал, что я этим злоупотребляю.

– А если я быстро соберусь и сам поеду туда, где у вас маневры? Мне это было бы очень интересно, а в перерывах нам бы, может быть, удалось поговорить.

– Не советую: вы не спали, вы вбили себе в голову какую-то чепуху, которая, уверяю вас, не стоит внимания, но теперь она вас больше не беспокоит, так что лягте поудобнее и поспите, это очень поможет восстановить солевой баланс ваших нервных клеток; только не засните слишком быстро, а то скоро у вас под окнами пройдет наш чертов оркестр; после этого все будет тихо, а увидимся мы вечером, за ужином.

Но вскоре я стал часто выбираться на полковые учения; я заинтересовался теорией военного дела, о которой рассуждали за ужином друзья Сен-Лу, и все дни был одержим желанием присмотреться поблизу к их командирам, самым разным; так человек, поглощенный главным образом изучением музыки, живущий концертами, с удовольствием ходит в кафе, где можно соприкоснуться с жизнью оркестрантов. Чтобы попасть туда, где проходили маневры, мне нужно было совершать долгие пешие переходы. Вечером, после ужина, я иной раз не мог высидеть прямо, словно при головокружении. На другой день я замечал, что не слышал оркестра, как раньше, в Бальбеке, в те вечера, когда Сен-Лу возил меня ужинать в Ривбель, не слышал концерт на пляже. А когда я хотел встать, на меня тут же нападало восхитительное изнеможение, сочленения моих мышц и сосудов от усталости делались чувствительными и словно привязывали меня к невидимому полу глубоко внизу. Я был полон сил, чувствовал, что буду жить долго, а все потому, что возвращался к благодетельной усталости комбрейского детства, наступавшей на другой день после наших прогулок в сторону замка Германт. Поэты уверяют, что, когда входим в дом или сад, где жили в юности, мы на миг становимся такими, как были когда-то. Паломничество в эти места – дело рискованное, оно может увенчаться как успехом, так и разочарованием. Уж лучше искать в себе самих те места, которые связаны для нас с теми или другими годами нашей жизни. В известной мере для этого годится сильная усталость, а после нее хороший ночной отдых. Они хотя бы приводят нас в самые подземные



галереи сна, где в случае, если внутренний монолог никак не унимается, его не озаряет больше ни один отблеск минувшего дня, ни одна вспышка памяти, а еще они так добросовестно переворачивают почву и туф нашего тела, что, по мере того как наши мышцы уходят вглубь, изгибаются во все стороны, тянутся к новой жизни, на поверхность выступает сад, в котором мы играли детьми. Чтобы вновь его увидеть, не нужно путешествовать: чтобы его найти, нужно спуститься. То, чем была покрыта земля, уже не на ней, а под ней; чтобы посетить мертвый город, мало экскурсии – тут нужны раскопки. Но мы увидим, что еще вернее, чем все эти материальные перемещения, с гораздо большей и изощренной точностью, с помощью куда более легкого, бесплотного, головокружительного, непогрешимого, бессмертного полета приводят нас к прошлому некоторые беглые и случайные впечатления.

Иногда я уставал еще сильнее, когда по несколько дней смотрел на маневры, не имея возможности прилечь. Каким блаженством было потом возвращение в гостиницу! Когда я вновь оказывался в постели, мне казалось, что я наконец ускользнул от тех чародеев и колдунов, что населяют излюбленные «романы» нашего XVII века. Сон и неторопливое пробуждение наутро превращались в сущую волшебную сказку. Это было божественно, но, надо думать, еще и шло мне на пользу. Я говорил себе, что от самых тяжких страданий есть убежище и уж что-то, а покой и отдых можно обрести всегда. Эти мысли заводили меня довольно далеко.

В дни, свободные от учений, если Сен-Лу не мог отлучиться из казармы, я часто ходил его проводить. Идти было далеко; нужно было выйти из города, перейти через виадук, по обе стороны которого мне открывались необъятные дали. На возвышенности всегда веял сильный ветер, продувавший насквозь здания, с трех сторон окружавшие двор, и они постоянно гудели, как пещера ветров. Пока Робер был занят службой, я ждал у дверей его комнаты или в столовой, болтая с его друзьями, с которыми он меня познакомил (а потом уже я приходил повидаться с ними даже когда знал, что его нет), и видел за окном, на сотню метров подо мной, голые поля, где, однако, то тут, то там виднелись уже зеленые стрелы, блестящие и прозрачные, словно эмаль: это были новые всходы, часто еще мокрые от дождя и освещенные солнцем; иногда я слышал, как друзья Робера говорили о нем, и очень скоро понял, как все его любят и почитают. Добровольцы, принадлежавшие к другим эскадронам, молодые богатые буржуа, видевшие аристократическое общество только извне и никогда в него не проникавшие, восхищались не только характером Сен-Лу; их симпатия подогревалась тем блеском, которым, по их представлениям, был окружен этот молодой человек: часто, когда все уезжали в Париж в увольнительную, они видели, как он ужинал в кафе де ла Пэ в обществе герцога д'Юзеса и принца Орлеанского<sup>29</sup>. И поэтому с его красивым лицом, с его развинченной походкой, небрежной манерой отдавать честь, с вечным парением его монокля, с причудливостью его слишком высоких кепи, его брюк из слишком тонкого, слишком розового сукна они связывали понятие «шика», которого, по их убеждению, лишены были самые элегантные офицеры полка, даже величественный капитан, тот, кому я был обязан разрешением ночевать в казарме: по сравнению с Сен-Лу он казался слишком напыщенным и чуть не вульгарным.

Кто-то говорил, что капитан купил новую лошадь. «Пускай покупает каких угодно лошадей. В воскресенье утром я встретил в аллее Акаций Сен-Лу, и с каким же шиком он ездит верхом!» – отвечал ему собеседник со знанием дела, ведь эти молодые люди принадлежали к тому классу, где пускай не общаются с высшим светом напрямую, но благодаря деньгам и досугу не отличаются от аристократии во всем, что касается моды и что можно купить за деньги. Кое в чем, например в одежде, они разбирались даже лучше, выглядели безупречнее, чем Сен-Лу с его вольной и небрежной элегантностью, которая так нравилась моей бабушке. Каким пережи-

<sup>29</sup> ...в обществе герцога д'Юзеса и принца Орлеанского. – Речь идет о реальных людях: правнук Луи-Филиппа, Анри-Филиппе-Мари, принце Орлеанском (1867–1901), и Жаке де Крассоле, герцоге д'Юзес (1868–1894), часто бывавших в кафе де ла Пэ, на бульваре Капуцинок, 12.



ванием было для этих сыновей богатых банкиров и биржевых маклеров поехать после театра поесть устриц и увидеть за соседним столиком сержанта Сен-Лу! И сколько рассказов потом звучало в казарме в понедельник после увольнительной: кто-нибудь, из того же эскадрона, что Сен-Лу, встретился с ним накануне, и тот «очень любезно» с ним поздоровался, а другой, хоть и из другого эскадрона, решил, что Сен-Лу тем не менее его узнал, потому что, кажется, два или три раза навел на него свой монокль.

– А мой брат заметил его в Кафе де ла Пэ, – говорил третий, который весь день провел у своей любовницы. – Говорят, что фрак на нем был слишком просторный и сидел на нем кое-как.

– А в каком он был жилете?

– Не в белом, а в сиреновом, расшитом какими-то пальмами, с ума сойти!

Бывалые солдаты (люди из народа, понятия не имевшие о Жокей-клубе<sup>30</sup>, а просто зачислявшие Сен-Лу в категорию очень богатых сержантов, к которым они относили всех, в том числе и разорившихся, чьи доходы или долги исчислялись крупными суммами и кто проявлял щедрость к солдатам) не видели ничего аристократического ни в походке, ни в монокле, ни в брюках, ни в кепи Сен-Лу, но интересовались ими не меньше и тоже усматривали в них особый смысл. В этих особенностях они видели характер, стиль, которые раз и навсегда приписали самому популярному сержанту в полку, видели манеры, присущие только ему и никому больше, видели презрение к тому, что подумают начальники, причем все это казалось им естественным следствием того, что он так хорошо относился к солдатам. Утренний кофе в общей спальне или послеобеденный отдых на койке казались слаще, когда кто-нибудь из бывалых солдат на радость разнеженному и жаждущему подробностей отделению расписывал кепи, принадлежавшее Сен-Лу.

– Высокое, как мой вещмешок.

– Ладно, старина, не заливай, быть не может, чтобы такое высокое, как твой вещмешок, – перебивал какой-нибудь юный лицензиат филологии, щеголявший подобными словечками, чтобы его не принимали за новобранца, влезая в спор, чтобы услышать подтверждение факту, который его восхищал.

– Ах, не такое высокое, как мой вещмешок? Ты его что, измерял? Говорю тебе, полковник так таранился на нашего сержанта, будто хотел на гауптвахту отправить. А Сен-Лу, молодец, и в ус себе не дует: ходит туда-сюда, кивает, голову вскидывает и моноклем поигрывает в придачу. Посмотрим, что теперь капитан скажет. Может, и ничего не скажет, да только уж точно не обрадуется. А в самом кепи ничего такого нет особенного. Говорят, у него дома, в городе, штук тридцать таких.

– Откуда ты это взял, старина? Чертов капрал тебе сказал, что ли? – дотошно допытывался юный лицензиат, демонстрируя владение новыми грамматическими формами, недавно усвоенными, так что теперь ему было лестно уснащать ими свою речь.

– Взял откуда? Да его же денщик мне сказал, черт побери.

– Да уж, вот кому удача привалила.

– Еще бы! Деньжат у него побольше, чем у меня, уж это точно. И еще сержант ему все свои вещи отдает, и то, и это. Он в столовой не наедался. Приходит туда наш Сен-Лу, кашевар своими ушами слышал: «Хочу, чтобы его кормили как следует, сколько надо, столько и заплачу».

И, стараясь искупить энергичными интонациями незначительность слов, ветеран передразнивал Сен-Лу, пускай не слишком умело, но все были в восторге.

---

<sup>30</sup> Жокей-клуб во Франции был основан в 1834 г. по образцу английского; это был самый закрытый клуб, доступный лишь избранным.



Я уходил из казарм, до захода солнца немного гулял, а потом отправлялся к себе в гостиницу, где часа два отдыхал и читал, дожидаясь, когда настанет время идти ужинать с Сен-Лу в другую гостиницу, где жили он и его друзья. На площади вечер водружал на остроконечные крыши замка розовые облачка, подбирая их под цвет кирпичей и для вящей гармонии подсвечивая кирпичи отблеском заката. Мои нервы омывал такой мощный поток жизни, что никакими движениями мне его было не исчерпать; каждый мой шаг по булыжнику мостовой пружинил, словно на каблуках у меня были крылышки Меркурия. В одном фонтане плескался алый цвет, в другом вода уже стала опаловой от лунного луча. Между фонтанами играли дети, кричали, носились по кругу, повинувшись неписаному распорядку дня, как стрижи или летучие мыши. Старинные дворцы и оранжерея Людовика рядом с гостиницей, в которых теперь разместились Сберегательный банк и армейский корпус, были уже подсвечены изнутри бледными золотистыми газовыми лампами, которые в еще светлом воздухе очень шли этим высоким и широким окнам XVIII века, где не успели погаснуть последние отблески заката: так лицу, пышущему румянцем, идет светлое перламутровое ожерелье; тут наконец я решился вернуться к моему камину и лампе, которая одна во всей гостинице боролась с наступающими сумерками; ради нее я шел к себе в номер еще до наступления полной темноты – шел с радостью, словно мне предстояло полакомиться чем-то вкусным. И в комнате меня захлестывала та же полнота ощущений, что на улице. Она выгибала видимую поверхность вещей, кажущихся нам обычно плоскими и пустыми, желтые языки пламени, грубую синюю бумагу небес, которую вечер, как школьник, изрисовал розовыми штопорообразными каракулями, скатерть с необычным узором на круглом столе, где ждали меня стопка линованой бумаги и чернильница рядом с романом Берготта, так что и потом мне всегда казалось, будто в них щедро заложено какое-то особое существование и я сумел бы его извлечь, если повезет. Я с радостью думал о казарме, из которой только что ушел, о флюгере, вертевшемся по воле ветра. Для меня, как для ныряльщика, что дышит через трубку, выступающую над поверхностью воды, это была целительная связь с жизнью, с вольным воздухом, и связали меня с ними эта казарма, и эта вышка обсерватории, и поля вокруг нее, исчерченные зелеными эмалевыми каналами; я мечтал о драгоценной привилегии – и пускай бы она сохранялась за мной как можно дольше – приходиться, когда захочу, под эти навесы и в эти казарменные здания, приходиться и твердо знать, что встречу радужный прием.

В семь я одевался и опять уходил; теперь я направлялся в гостиницу, где жил и столовался Сен-Лу. Мне нравилось идти туда пешком. Было совсем темно, а на третий день с приближением ночи стал подниматься ледяной ветер, вероятно, предвещавший снег. Я шагал и, казалось бы, должен был непрестанно думать о герцогине Германтской; я и приехал к Роберу в гарнизон только для того, чтобы попробовать как-то к ней приблизиться. Но воспоминания и горести не стоят на месте. В иные дни они уходят так далеко, что мы едва их различаем и думаем, что они нас покинули. Тогда мы начинаем обращать внимание на что-нибудь другое. И улицы этого городка еще не были для меня просто средством, чтобы попасть из одного места в другое, как дома, где все нам привычно. Жизнь обитателей этого незнакомого мира представлялась мне чудесной, и часто я застывал надолго в темноте перед какими-нибудь освещенными окнами, впиваясь взглядом в правдивые и таинственные сцены существования, в которое не мог проникнуть. Иной раз гений огня показывал мне картину в багровых тонах, а на ней таверну, которую держал торговец каштанами; там два сержанта, положив портупей на стулья, играли в карты, не подозревая, что выхвачены из тьмы по воле волшебника, словно актеры в театре, и явлены такими, какие они есть в эту самую минуту, глазам невидимого для них прохожего, остановившегося у окна. А в тесной лавке старьевщика сгоревшая до половины свеча, отбрасывая красный отблеск на какую-нибудь гравюру, превращала ее в сангину; свет массивной лампы, борясь с темнотой, золотил кусок кожи или осыпал сверкающими блестками кинжал на картинах, которые были всего-навсего скверными копиями, и драгоценная позолота была



словно патина прошлого или лак великого художника, а убогая конура, где все сплошная подделка и мазня, преображалась в бесценного Рембрандта. Иногда мой взгляд забирался выше, и я заглядывал в какую-нибудь просторную старинную квартиру, если окна ее не были закрыты ставнями; там мужчины и женщины вели жизнь амфибий, каждый вечер приспосабливались к существованию в другой стихии, не той, что днем; они медленно плавали в жирной жидкости, которая с наступлением темноты беспрестанно сочилась из резервуаров ламп и затопляла комнату до самого верха каменных и стеклянных стен, и, перемещаясь в ней, распространяли вокруг себя маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше, и часто сила моего желания оставлиwała меня в темном переулке перед собором, как когда-то по дороге в Мезеглиз; мне казалось, что сейчас из тьмы возникнет женщина и насытит это желание; если вдруг я чувствовал, что во мраке мимо меня скользнуло женское платье, жесточайшее наслаждение не давало мне поверить, что его прикосновение было случайно и я пытался обнять перепуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня нечто столь реальное, что, если бы я сумел «подцепить» женщину и овладеть ею, ничто бы не могло меня разубедить в том, что свело нас с ней античное сладострастие, даже если бы она оказалась обыкновенной девкой, торчавшей там каждый вечер: зима, мое одиночество, темнота и средневековые овеяли бы ее тайной. Я размышлял о будущем: мне казалось, что забыть герцогиню Германтскую было бы ужасно, но, в сущности, благоразумно, и впервые мне пришло в голову, что это возможно и даже, пожалуй, легко. В полной тишине квартала до меня доносились слова и смех полупьяных прохожих, возвращавшихся по домам. Я останавливался на них поглядеть, я смотрел в ту сторону, откуда донесся шум. Но ждать приходилось долго: меня окружала такая плотная тишина, что даже далекие звуки раздавались в ней очень четко и громко. И наконец гуляки проходили, но не мимо меня, как я надеялся, а где-то далеко позади. Не то виноваты в этой акустической ошибке были перекрестки и расположение домов, отражавших звук, не то в незнакомом месте нам вообще трудно понять, откуда исходит шум, но и направление, и расстояние я то и дело определял неправильно.

Ветер усиливался. Была в нем шероховатость, взъерошенность, предвещавшая снегопад; я выходил на главную улицу и вскакивал в трамвайчик; офицер на площадке отвечал не глядя на приветствия проходивших по тротуару неуклюжих солдат, чьи лица раскрасил мороз; казалось, из-за резкого перехода от осени к началу зимы городок переместился дальше на север, и эти раскрасневшиеся лица напоминали румяные физиономии брейгелевских крестьян, веселых, подвыпивших и замерзших.

А в гостиницу, где я встречался с Сен-Лу и его друзьями, начинавшиеся праздники привлекали много народу, местных и издалека; на двор, который мне нужно было пересечь, выходили рдеющие кухни, там крутились на вертелах цыплята, на решетках жарилась свинина и живые омары доходили на «адском огне» (так это называлось у хозяина гостиницы), а в самом дворе толкалась толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров<sup>31</sup>: новоприбывшие собирались кучками, спрашивали у хозяина или его помощников, получают ли они здесь стол и кров (причем те, если просители приходились им не по вкусу, советовали им поискать пристанище в городе), а мимо тем временем проходил поваренок, ухватив за шею трепыхавшуюся домашнюю птицу. А в большом зале ресторана, который я пересек в первый день, чтобы добраться до отдельного кабинета, где ждал мой друг, все наводило на мысль о евангельской трапезе, изображенной со старинным простодушием и фламандской любовью к чрезмерности, – изобилие украшенных и дымящихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых, запыхавшись, приносили официанты, для скорости скользя по паркету, и рас-

---

<sup>31</sup> ...толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров... – Имеется в виду в первую очередь «Перепись в Вифлееме» Питера Брейгеля-старшего (1566); вслед за ним этот сюжет разрабатывали и другие фламандские художники.



ставляли на огромном столе, где их тут же разделявали; однако, поскольку к моему появлению многие посетители уже кончали обедать, вся эта снедь громоздилась там невостребованная, словно все это великолепие и расторопность служителей не столько отвечали желаниям обедающих, сколько выражали почтение к священному тексту, тщательно воплощенному в его буквальном смысле, но простодушно уснащенному деталями, заимствованными из местной жизни и выдававшими стремление явить взорам великолепие праздника благодаря обилию съестного и усердию служащих. Один из них в конце зала о чем-то мечтал, застыв перед сервантом; он один не суетился и, наверно, был в состоянии мне ответить, так что я решил узнать у него, в каком помещении для нас накрыли стол, повсюду были расставлены жаровни, чтобы подогревать кушанья для запоздавших, а в центре зала, наоборот, были выставлены десерты, покоившиеся на руках у великана, опорой которому служила огромная утка, казалось, хрустальная, а на самом деле изваянная из льда, которую каждый день в истинно фламандском духе вырезал раскаленным клинком повар-ваятель, и я, лавируя между жаровнями, рискуя быть сбитым с ног другими служащими, пошел прямо к этому мечтателю; мне казалось, что я узнаю в нем традиционную фигуру священных сюжетов: его лицо было копией тех курносых, простодушных и небрежно прорисованных физиономий с их мечтательным выражением, по которым видно, что они уже почти предвосхищают божественное присутствие, пока остальные еще ни о чем не догадываются. Добавим, что в честь близящихся праздников к этому изваянию добавилось небесное пополнение в виде отряда херувимов и серафимов. Юный ангел-музыкант, на вид лет четырнадцати, с личиком, обрамленным белокурыми волосами, не играл, правда, ни на одном инструменте, а грезил перед гонгом или стопкой тарелок, пока менее ребячливые ангелы метались по необъятным пространствам зала, сотрясая воздух беспрестанным колыханием полотенец, свисавших вдоль их тел наподобие острых крыльев на полотнах старых мастеров. Опасливо огибая зыбкие границы этих областей, осененных пальмовыми ветвями, откуда небесные служители выныривали, словно из эмпирея, я проложил себе путь в небольшой кабинет, где находился стол Сен-Лу. Я нашел там нескольких его друзей, которые всегда ужинали с ним вместе, все дворянского сословия, не считая одного-двух разночинцев, но таких, в ком дворяне учуяли друзей еще с лица и с кем охотно общались, доказывая этим, что ничего не имеют против буржуа, даже республиканцев, лишь бы они чисто мыли руки и ходили к мессе. В первый же раз перед тем, как сели за стол, я отвел Сен-Лу в уголок и при всех, но так, чтобы никто не слышал, сказал:

– Робер, время и место выбраны неудачно для того, что я вам хочу сказать, но это совсем ненадолго. В казарме я все забываю у вас спросить: это у вас фотография герцогини Германтской там, на столе?

– Да, конечно, она ведь моя милая тетя.

– Надо же, я совсем с ума сошел, я это знал и раньше, но как-то об этом не думал; о господи, ваши друзья, наверно, теряют терпение, давай быстро договорим, а то они на нас смотрят, или отложим до другого раза, не важно.

– Да нет же, продолжайте, они подождут.

– Нет, нехорошо, не хочу быть невежливым, они такие славные, и вообще, это все неважно.

– Так вы знаете нашу славную Ориану?

Говоря «славная Ориана», как до того «милая», Сен-Лу вовсе не имел в виду, что герцогиня Германтская такая уж «славная». В подобных случаях «милая», «прекрасная», «славная» просто усиливают смысл местоимения «наша», обозначающего, что мы с этой особой знакомы, но нам не приходит в голову, что бы такого сказать о ней постороннему человеку. Для начала говорят «славная», а потом в удобный момент добавляют «Вы с ней часто видитесь?», или «Я ее уже сто лет не видел», или «Мы с ней увидимся в этот вторник», или «Она уже, наверно, не первой молодости».



– Сказать не могу, как забавно, что это ее фотография, ведь мы теперь живем в ее доме, и я узнал про нее невероятные вещи (мне трудно было бы сказать, какие именно), так что теперь она меня страшно интересует с литературной точки зрения, понимаете, я бы сказал – с балзаковской точки зрения, вы с полуслова поймете, что я имею в виду, вы же такой умница; но хватит, а не то ваши друзья сочтут меня невежей!

– Ничего они не сочтут, я им сказал, что вы несравненны, и они робеют больше вашего.

– Вы слишком добры. Дело вот в чем: герцогиня Германтская не подозревает, что я с вами знаком, не правда ли?

– Понятия не имею; я ее не видел с лета, потому что с тех пор, как она вернулась домой, у меня еще не было увольнительной.

– Видите ли, меня уверяли, что она считает меня круглым дураком.

– Ну, не может быть: Ориана не светоч, конечно, но она совсем не глупа.

– Вы знаете, мне вообще совершенно не хочется, чтобы вы оповещали всех вокруг о том, как хорошо вы ко мне относитесь, ведь я лишен самолюбия. Меня даже огорчает, что вы расхвалили меня вашим друзьям (к которым мы через секунду вернемся). Но если бы вы могли рассказать ее светлости герцогине Германтской, какого вы обо мне высокого мнения, и даже с некоторыми преувеличениями, я был бы страшно рад.

– С большим удовольствием, и если это все, о чем вы просите, мне это совсем не трудно, но какая вам разница, что она о вас думает? По-моему, вам это должно быть просто смешно; в общем, если дело только в этом, мы с вами все обсудим или при всех, или когда останемся одни, потому что боюсь, вам утомительно столько времени стоять на ногах и в таком неловком положении, ведь у нас сколько угодно возможностей побыть вдвоем.

Как раз благодаря этой неловкости я и собрался с духом обратиться к Роберу с просьбой; я воспользовался присутствием посторонних как предлогом, чтобы говорить кратко и бессвязно: так легче было лгать, потому что я ведь лгал, утверждая, что забыл о родстве моего друга с герцогиней; кроме того, у Робера не оставалось времени спросить, зачем, собственно, мне хочется, чтобы герцогиня знала, что я с ним дружу, что я умен и так далее – эти расспросы меня бы смутили, потому что я не мог на них ответить.

– Робер, вы же такой умница, мне странно, что вы не понимаете: не нужно спорить с друзьями о том, что их порадует, нужно просто это сделать. Просите меня о чем угодно, мне даже очень хочется, чтобы вы меня о чем-нибудь попросили, уверяю вас, я не стану требовать объяснений. Я даже больше попрошу, чем в самом деле хочу; мне не так уж нужно познакомиться с госпожой герцогиней Германтской, но, чтобы вас испытать, мне следовало бы сказать вам, что я жажду у нее пообедать, и я знаю, что вы бы этого не сделали.

– Я не только это сделал бы – я это сделаю.

– Когда же?

– Как только вернусь в Париж, скажем, через три недели.

– Посмотрим... хотя она не захочет. Но я вам несказанно благодарен.

– Что вы, не за что.

– Не говорите так, это потрясающе, потому что теперь я оценил вашу дружбу: о важной вещи я прошу или о пустяковой, о приятной или неприятной, в самом деле об этом мечтаю или просто вас испытываю – неважно: вы говорите, что сделаете это, и доказываете, насколько вы умный и тонкий человек. Глупец стал бы спорить.

Сен-Лу только что как раз спорил; но, может быть, я хотел задеть его самолюбие и поймать на слове, а может, я говорил искренне, и единственным мерилom истинной дружбы представлялась мне та польза, которую друг готов был мне принести в отношении того единственного, чем я дорожил, то есть моей любви. Потом я добавил, не то из лицемерия, не то под влиянием истинной вспышки нежности, вызванной благодарностью, корыстью и тем сходством, которым наделила природа герцогиню Германтскую и ее племянника Робера:



– Нам в самом деле пора присоединиться к вашим друзьям, а я попросил вас только об одном из двух одолжений, причем о менее важном, второе для меня важней, но я боюсь, что вы мне откажете: вас не будет раздражать, если мы перейдем на ты?

– Какое там раздражать, что вы! *Радость! Слезы радости! Неведомое блаженство!*<sup>32</sup>

– Как я вам благодарен... тебе благодарен. Когда же ты начнешь? Я так рад, что вы можете ничего не говорить госпоже герцогине Германтской, довольно уже и того, что мы перешли на ты.

– Мы сделаем и то, и другое.

– Ах, Робер! Послушайте, – сказал я Сен-Лу позже, за ужином, – смешно, как прерывается наш разговор, а я почему-то опять к нему возвращаюсь... помните, я с вами говорил об одной даме?

– Да.

– Вы же понимаете, кого я имею в виду?

– Помилуйте, вы меня считаете безнадежным дураком и *тупицей*.

– Не могли бы вы дать мне ее фотографию?

Я хотел попросить ее только на время. Но когда заговорил, оробел и почувствовал, как нескромна моя просьба; чтобы не показать виду, я сформулировал ее еще грубее и попросил больше, чем собирался, будто в этом не было ничего особенного.

– Нет, я должен сперва спросить у нее разрешения, – отвечал он.

И тут же покраснел. Я понял, что у него появилась задняя мысль и что он меня заподозрил в том же; я понял, что он поможет моей любви, но лишь наполовину, с поправкой на свои моральные принципы, и это было мне отвратительно.

И все-таки я был тронут, видя, как по-другому ведет себя со мной Сен-Лу, когда мы с ним не вдвоем, а как будто втроем, где третья сторона – его друзья. То, что он обращался со мной ласковей и дружелюбней, не произвело бы на меня впечатления, если бы я считал, что он это делает нарочно, но я чувствовал его искренность; его обращение объяснялось тем же, чем и все то, что он, вероятно, говорил друзьям в мое отсутствие и о чем умалчивал, когда мы оставались вдвоем. Наедине с ним я, разумеется, догадывался, что ему приятно со мной болтать, но он почти никогда не выражал этого удовольствия вслух. Теперь он слушал те же мои речи, которыми обычно наслаждался, не подавая виду, а сам краем глаза поглядывал, произвели ли они на его друзей то впечатление, на какое он рассчитывал, и соответствует ли оно его обещаниям. Он был словно мамаша дебютантки, напряженно следящая за каждой репликой дочери и за отношением окружающих. Я произносил слово, которое, будь мы с ним вдвоем, вызвало бы у него просто улыбку, а теперь он боялся, что они не поняли, и переспрашивал: «Как, как ты сказал?», чтобы я повторил и чтобы все обратили на это слово внимание, и тут же поворачивался к остальным, и невольно, глядя на них и заливаясь смехом, словно требуя, чтобы они тоже смеялись, он давал мне понять, как высоко он меня ценит и как часто, должно быть, говорил им об мне. Я словно впервые видел себя со стороны, как человек, который читает свое имя в газете или смотрится в зеркало.

В один из вечеров мне захотелось рассказать довольно забавную историю о г-же Бланде, но я тут же остановился, вспомнив, что Сен-Лу уже знает эту историю: когда на другой день по приезде я попытался ее ему рассказать, он перебил меня словами: «Вы уже рассказывали мне об этом в Бальбеке». Каково же было мое удивление, когда он стал уговаривать меня продолжать, уверяя, что не знает этой истории и что ему будет очень занятно послушать. Я возразил: «Вы просто забыли, скоро вы ее узнаете». – «Нет, клянусь, ты что-то напутал. Никогда ты мне

---

<sup>32</sup> *Радость! Слезы радости! Неведомое блаженство!* – Реплика Сен-Лу представляет собой измененную цитату из «Мемориала» Паскаля – листа пергамента, который он испещрил восклицаниями в ночь 23 ноября 1654 г., когда его коснулась божественная благодать. Эти записи были найдены после смерти Паскаля и публикуются среди его «Малых сочинений».



ее не рассказывал. Давай же». И во все время моего рассказа он с лихорадочным восхищением переводил взгляд с меня на своих товарищей и обратно. И только завершив свой рассказ под всеобщий смех, я понял, как ему хотелось, чтобы его товарищи оценили мое остроумие; потому он и притворился, что не помнит эту историю. Вот что значит дружба.

На третий вечер со мной разговаривал один из его друзей, с которым у меня не было случая побеседовать раньше; я слышал, как он потом вполголоса расписывал Роберу, какое удовольствие получил от этой беседы. И в самом деле мы проговорили с ним почти целый вечер над бокалами сотерна, не спеша их допивать; нас отделяла и оберегала ото всех чудесная завеса симпатии, которая порой вспыхивает между людьми и, не имея ничего общего с физическим влечением, остается самой непостижимой из всех чувств. Такой загадкой показалась мне в Бальбеке дружба, которую питал ко мне Сен-Лу: ее нельзя было объяснить тем, что нам интересно было беседовать, в ней не было ничего материального, она была невидима, неосознана, вроде газа флогистона<sup>33</sup>, и все же Робер явственно ощущал в себе это чувство и упоминал о нем с улыбкой. И быть может, в нашей симпатии, родившейся за один-единственный вечер, как расцветает цветок, в этом жарком маленьком кабинете, было что-то еще более удивительное. Я не удержался и, когда Робер заговорил со мной о Бальбеке, спросил у него, вправду ли его брак с мадмуазель д'Амбрезак – дело решенное. Он меня уверил, что не только ничего не решено, но об этом даже речи никогда не было, что он никогда не встречался с ней и не имеет о ней никакого понятия. Если бы я в этот миг увиделся с кем-нибудь из светских людей, сообщавших об этом браке, они бы объявили мне, что мадмуазель д'Амбрезак выходит замуж совсем не за Сен-Лу, а Сен-Лу женится отнюдь не на мадмуазель д'Амбрезак. Я бы очень удивил их, если бы напомнил, что совсем недавно они предсказывали нечто противоположное. Чтобы эта салонная игра могла продолжаться, громоздя вокруг каждого имени все новые и новые лживые новости, природа наделила тех, кто любит в нее играть, очень короткой памятью, но зато огромной легкостью.

Еще раньше Сен-Лу упоминал мне о другом своем товарище, тоже обедавшем с нами; с ним он особенно крепко подружился, потому что только они двое из всей компании были за пересмотр дела Дрейфуса<sup>34</sup>.

– Ну, он не такой, как Сен-Лу, он одержимый, – сказал мой новый друг, – а иногда может и покривить душой. Сперва говорил: «Давайтеждемся, что скажет генерал де Буадефр; я хорошо его знаю, он умница, прекрасный человек, на его мнение смело можно положиться». А когда узнал, что Буадефр настаивает на виновности Дрейфуса, оказалось, что с Буадефром считаться нечего: клерикализм и штабные предрассудки не дают ему судить беспристрастно, а ведь до истории с Дрейфусом не было более пылкого клерикала, чем наш друг. Потом он нам сказал, что так или иначе мы узнаем правду, потому что дело попадет в руки Сосье, а он – солдат-республиканец (сам-то наш друг из семьи ультрамонархистов), это человек непреклонный, твердых убеждений. Но когда Сосье объявил, что Эстергази невиновен, он, не усомнившись в Дрейфусе, объяснил решение Сосье нелестным для генерала образом<sup>35</sup>. Оказывается, генерала Сосье ослепляет его милитаризм (причем заметьте, что этот наш товарищ сам не только

<sup>33</sup> *Флогистон* – гипотетическая тепловая материя; в XVIII – начале XIX в. ее присутствием в телах пытались объяснять наблюдаемые тепловые явления (нагрев тел, теплообмен, тепловое расширение, тепловое равновесие и т. п.).

<sup>34</sup> ...за пересмотр дела Дрейфуса. – В декабре 1894 г. офицер французской армии Альфред Дрейфус (1859–1935) был обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке. Французские интеллектуалы того времени, в том числе Эмиль Золя, Анатоль Франс, Жорж Клемансо и молодой Марсель Пруст, стали требовать пересмотра дела и в конце концов в 1906 г. добились окончательного оправдания Дрейфуса.

<sup>35</sup> Но когда Сосье объявил... нелестным для генерала образом. – Речь идет о перипетиях дела Дрейфуса. Генерал де Буадефр (1839–1919), начальник штаба французской армии, вначале был как будто за оправдание подсудимого. Генерал Сосье (1828–1905), военный комендант Парижа, вначале был против судебного преследования Дрейфуса. Однако весной 1896 г. полковник Пикар (1854–1914), глава разведки, заподозрил, что сведения Германии поставлял майор Эстергази (1847–1923). Тогда Сосье начал расследование, в результате которого Эстергази был оправдан.



клерикал, но и милитарист, по крайней мере раньше он был и милитаристом, и клерикалом, а теперь уж я и не знаю, что думать). Его семья просто в отчаянии от таких его идей.

– Подумать только, – сказал я, полуобернувшись к Сен-Лу, чтобы вовлечь его в разговор и не отгораживаться от него, но не теряя из виду и его товарища, – считается, что на человека влияет среда, особенно интеллектуальная. Положим, человек таков, каковы его убеждения, но убеждений ведь гораздо меньше, чем людей, так что все люди, которые придерживаются одних убеждений, друг на друга похожи. Однако убеждения совершенно нематериальны, поэтому те, кто окружает человека только физически, на его убеждения никак не влияют.

В этот момент Сен-Лу перебил меня, потому что один молодой военный кивнул ему на меня и сказал: «Дюрок, вылитый Дюрок». Я не знал, что это должно означать, но чувствовал, что говоривший смотрит на меня застенчиво и более чем дружелюбно. Сен-Лу не удовольствовался этим его сравнением. Захлебываясь от восторга, который еще подогревался желанием продемонстрировать меня друзьям во всем блеске, он нахваливал меня, как жеребца, первым прибежавшего к финишу: «Знаешь, из всех, кого я знаю, ты самый умный». Тут он спохватился и добавил: «И еще Эльстир. Ты же не обидишься? Сам понимаешь, честность превыше всего. Для сравнения: я тебе это говорю, как кто-то сказал Бальзаку: вы самый великий романист нашего века, вы да еще Стендаль. Крайняя степень честности, сам понимаешь, а в сущности, глубочайшее восхищение. Ну что, на Стендаля ты не согласен? – добавил он с простодушным доверием к моему суждению, выразившимся в прелестной улыбке и по-детски вопросительном взгляде его зеленых глаз. – О, прекрасно, вижу, ты со мной согласен, а вот Блок Стендаля терпеть не может, и, по-моему, это страшная глупость. „Пармская обитель“, что ни говори, великая книга! Я рад, что ты со мной согласен. А скажи, кто тебе больше всего нравится в „Пармской обители“? – спрашивал он с юношеским задором (и его грозная физическая сила придавала этому вопросу какой-то опасный оттенок), – Моска? Фабрицио?» Я робко отвечал, что в Моска есть что-то общее с г-ном де Норпуа. Тут юный Зигфрид – Сен-Лу покатылся со смеху. Не успел я добавить: «Но Моска гораздо умнее и не такой педант», как Робер закричал «браво» и в самом деле захлопал в ладоши, повторяя сквозь приступы хохота: «Нет, но как точно! Изумительно! Ты неподражаем!» Пока я говорил, Сен-Лу не хотел, чтобы окружающие мешали мне своим одобрением, он требовал, чтобы все молчали. Подобно тому как дирижер стучит палочкой по пульту, умиряя музыкантов, если кто-нибудь начнет шуметь, так Сен-Лу выбралил нарушителя: «Жиберг, – сказал он, – помолчите, когда другие говорят. Вы скажете потом. Ну, продолжайте же», – обратился он ко мне.

Я перевел дух – мне уже было показалось со страху, что он заставит меня начать сначала.

– А поскольку убеждения не имеют ничего общего с корыстью, – продолжал я развивать свою мысль, – и не извлекают никакой пользы из преимуществ отдельных людей, то человек, имеющий убеждения, не руководствуется корыстью.

– Да, друзья мои, он вас всех за пояс заткнул, – воскликнул Сен-Лу, следивший за мной так тревожно и заботливо, как будто я шел по канату. – Так что вы хотели сказать, Жиберг?

– Я говорил, что ваш гость очень напоминает мне майора Дюрока. Я словно слышал его голос.

– Мне это тоже часто приходило в голову, – отозвался Сен-Лу, – у них немало общего, но вы увидите: в нашем госте есть и много такого, чего в Дюроке нет.

Между прочим, брат этого друга Сен-Лу, воспитанник «Скола канторум», думал о каждом новом музыкальном произведении совсем не то, что его отец, мать, кузены, приятели по клубу, а в точности то же самое, что другие питомцы «Скола канторум»; вот так и Сен-Лу, этот сержант-дворянин (который Блоку по моим рассказам представлялся исключительной личностью, поскольку Блока трогало, что этот человек принадлежит к той же партии, что он сам, и в то же время из-за своего аристократического происхождения и религиозного воспитания он представлялся ему существом другой породы, чарующим, словно туземец далекой страны),



обладал такой же «ментальностью» (это слово как раз входило в моду), как все дрейфусары вообще и Блок в частности, и на нее ничуть не влияли ни семейные традиции, ни карьерные соображения. А один кузен Сен-Лу женился на юной восточной принцессе, о которой говорили, что она пишет стихи, такие же прекрасные, как у Виктора Гюго или Альфреда де Виньи, но, несмотря на это, считалось, что по натуре она совершенно непостижимое создание, настоящая восточная принцесса-затворница из дворца Тысячи и одной ночи<sup>36</sup>. Лишь писателям была дарована привилегия более близкого знакомства с ней, и они не столько с разочарованием, сколько с радостью обнаруживали, что в разговоре она напоминает отнюдь не Шехерезаду, а скорее гениального поэта, такого как Альфред де Виньи или Виктор Гюго.

С этим молодым человеком, как, впрочем, и с остальными друзьями Робера, да и с ним самим, мне больше всего нравилось беседовать о казарме, о гарнизонных офицерах, об армии в целом. Все, что нас окружает, вплоть до самых мелочей, приобретает неизмеримо более крупный масштаб, когда мы среди этих вещей едим, разговариваем, живем повседневной жизнью: они поразительно вырастают в наших глазах, а остальной мир не может с ними тягаться и становится каким-то бесплотным; поэтому я и начал интересоваться разными обитателями гарнизона, офицерами, которых замечал во дворе, когда шел повидаться с Сен-Лу или просыпался оттого, что под моими окнами проходит полк. Мне хотелось подробнее узнать о майоре, которым так восхищался Сен-Лу, и про курс истории, который должен был меня восхитить «даже с эстетической точки зрения». Я знал, что Робер иной раз грешит пустословием, но зато иногда в его разговоре сверкают глубокие мысли, усвоенные и понятые им во всей полноте. Увы, его армейскому окружению не могло прийтись по вкусу, что он в этот момент был крайне озабочен делом Дрейфуса. Он мало говорил об этом, потому что за столом был единственным дрейфусаром; остальным претила самая мысль о пересмотре дела, исключение составлял лишь мой сосед по столу, мой новый друг: его убеждения еще не определились. Мой сосед был пылким поклонником полковника, считавшегося образцовым офицером, а тот при каждом удобном случае клеймил позором агитацию против армии, из-за чего слыл антидрейфусаром; в то же время до моего нового приятеля дошли кое-какие высказывания командира, из которых можно было заключить, что тот сомневается в виновности Дрейфуса и с уважением относится к Пикару. Этот слух оказался явно недостоверным, как все слухи, возникающие неведомыми путями вокруг любого громкого дела. Вскоре полковник, которому поручили допросить бывшего начальника разведывательного управления, обошелся с ним невыносимо грубо и высокомерно. Мой сосед, конечно, не смел прямо спросить у полковника о его мнении, но хотя бы любезно сообщил Сен-Лу – с ужимкой правоверной католички, сообщающей знакомой еврейке, что ее кюре осуждает убийства евреев в России и восхищается щедростью некоторых израэлитов, – что полковник не такой упрямый и фанатичный противник дрейфусаров, по крайней мере некоторых дрейфусаров, как кое-кто утверждает.

– Меня это не удивляет, – заметил Сен-Лу, – ведь он умный человек. Но все-таки его ослепляют сословные и клерикальные предрассудки. Ах, вот майор Дюрок, профессор военной истории, о котором я тебе говорил, – обратился он ко мне, – вот кто, по-моему, полностью разделяет наш образ мыслей. Меня очень бы удивило, если бы это было не так, ведь он не только человек огромного ума, но и радикал-социалист и франкмасон.

Из любезности к друзьям Робера, которым тягостно было выслушивать его дрейфусарские речи, а также из интереса к другим темам, занимавшим меня больше, я спросил у соседа по столу, правда ли, что рассуждения майора о военной истории доставляют эстетическое наслаждение своей красотой.

<sup>36</sup> ...принцесса-затворница из дворца Тысячи и одной ночи. – Подразумевается поэтесса Анна де Ноай (1876–1933), по отцовской линии происходящая из румынского аристократического рода, а по матери гречанка. Пруст познакомился с ней в 1898 г. и был ее другом.



– Это чистая правда.

– Но что вы под этим подразумеваете?

– Ну например, кто бы ни писал о военном деле, в его писаниях все факты, все события, вплоть до самых незначительных, – это знаки, отражающие идею, которую нужно уловить, и часто под этими знаками кроются другие, как на палимпсесте. Получается, что в них кроется такая же стройная система взглядов, как в любом научном труде и в любом произведении искусства, и они дают такую же пищу уму<sup>37</sup>.

– А нельзя ли пример?

– Прямо так взять и привести пример трудно, – перебил Сен-Лу. – Например, читаешь, что такой-то корпус попытался сделать то-то и то-то... И сразу оказывается, что каким-то определенным значением наделены и название корпуса, и его состав. Допустим, операцию предпринимают уже не в первый раз, тогда, если на этот раз ее проводит другой корпус, это может оказаться знаком того, что предыдущие были уничтожены или понесли огромные потери и теперь они не в состоянии довести дело до конца. Тогда нужно выяснить, какой именно корпус был уничтожен, были ли это ударные силы, остававшиеся в резерве для решающей атаки: ведь если новый корпус слабее того, который был разбит, ему вряд ли удастся одержать победу. Вдобавок, если кампания ведется уже давно, сам этот новый корпус может быть сформирован из кого попало, и все это может дать нам сведения о том, какими силами располагает воюющая сторона, как скоро приблизится момент, когда она начнет уступать силам противника, и все это придаст другое значение операции, которую попытается предпринять этот корпус, потому что если он уже не сможет возместить свои потери, то даже его успех на самом деле будет лишь математически непреложным движением к окончательному разгрому. Впрочем, не меньшее значение имеет регистрационный номер противостоящего ему корпуса. Если, например, это войсковое подразделение намного слабее, но ему удалось победить несколько важных подразделений противника, характер операции меняется: пускай даже дело кончится потерей позиций, которые защищал противник, это означает большой успех, если столь малыми силами удалось нанести противнику такой значительный урон. Сам понимаешь, уж если при анализе участников операции мы обнаруживаем столько важного, то изучение самой позиции, дорог и железнодорожных путей, которые она контролирует, провианта и боеприпасов, которые она прикрывает, тем более играет огромную роль. Следует изучить весь, так сказать, географический контекст, – сказал он со смехом. (И на самом деле это выражение доставляло ему такое удовольствие, что в дальнейшем каждый раз, когда он его употреблял, даже спустя месяцы, он смеялся точно таким же смехом.) – Пока одна из воюющих сторон готовит операцию, если ты читаешь, что недалеко от позиции один из ее патрулей был уничтожен второй воюющей стороной, ты, кроме всего прочего, можешь сделать вывод, что первая стремилась разведать оборонительные работы, с помощью которых вторая рассчитывает отбить ее атаку. Особо кровопролитная акция может означать желание разбить противника, но может означать и попытку удержать его на прежних позициях, или предпринять ответные действия не там, где он атакует, или даже хитростью привлечь войска противника в это место с помощью особо яростной атаки. (Это классическая хитрость, которая была в ходу во время наполеоновских войн.) С другой стороны, чтобы понять значение маневра, его возможную цель и, соответственно, вычислить, какими еще маневрами он будет сопровождаться и какие за ним последуют, полезней обратить внимание не столько на то, что объявляет командование, потому что это может быть попыткой обмануть противника или скрыть возможность поражения, сколько на военный устав этой страны. Никогда нельзя исключать вероятность того, что маневр, предпринятый

---

<sup>37</sup> ...такая же стройная система взглядов... такую же пищу уму. – Здесь и далее следуют рассуждения Сен-Лу о военной стратегии, на которые автора в основном вдохновили статьи военного корреспондента Анри Биду, публиковавшиеся в 1916 г. в газете «Журналь де Деба».



армией, при данных обстоятельствах предписан действующим уставом. Например, если устав велит сопровождать фронтальную атаку фланговой и эта последняя оказалась отбита, а командование утверждает, что это была диверсия, никак не связанная с фронтальной атакой, правду, возможно, следует искать не в том, что заявляет командование, а в уставе. Причем у каждой армии не только свой военный устав, но и свои традиции, свои привычки, свои доктрины. Кроме того, нельзя пренебрегать изучением дипломатических акций, которые постоянно воздействуют и реагируют на военные действия. Незначительные на первый взгляд события, не понятые современниками, объяснят тебе, что неприятель рассчитывал на помощь, которую, как явствует из этих событий, он не получил, а потому выполнил на самом деле только часть своей стратегической задачи. Словом, если ты умеешь правильно читать военную историю, то, что обычным читателям кажется запутанным повествованием, оказывается для тебя последовательностью взаимосвязанных событий: так знаток живописи, видя картину, умеет заметить, как одет персонаж, что у него в руках, а неискушенный посетитель музея видит только нагромождение красок да борется с головной болью. Но на большинстве картин мало заметить кубок в руках у персонажа – надо знать, почему художник вложил ему в руки кубок, что этот кубок символизирует; так и военные операции, помимо их непосредственной цели, обычно оказываются по замыслу генерала, командующего кампанией, подражанием каким-нибудь прежним сражениям, которые служат новому сражению своего рода предысторией, библиотекой, эрудицией, этимологией, аристократическими предками, если хочешь. Заметь, что я сейчас не говорю о местных особенностях, о пространственной специфичности сражений. А она тоже существует. Такое-то поле боя во все времена было и всегда остается полем именно этого единственного боя. Оно стало местом сражения потому, что соединило в себе определенные географические условия, геологические особенности, все вплоть до изъёмов, способных помешать противнику (например, река, разделяющая его надвое), что и сделало его подходящим полем боя. Таким оно было, таким и останется. Мастерскую художника нельзя устроить в первой попавшейся комнате, сражение нельзя дать на первом попавшемся поле. Есть места, как нарочно для этого предназначенные. Но я опять-таки не об этом, а о типе сражения, которому подражают, об особой стратегической имитации, о тактическом пастише, если угодно: битва при Ульме, битва при Лоди, при Лейпциге, при Каннах. Не знаю, будут ли еще войны и между какими народами, но если будут, то уверяю тебя, что повторятся (причем сознательно, по воле военачальников) и Канны, и Аустерлиц, и Росбах, и Ватерлоо<sup>38</sup>, не говоря о других сражениях, и кое-кто не стесняется об этом говорить. Маршал фон Шлиффен и генерал фон Фалькенхаузен<sup>39</sup> приготовили для Франции заранее битву при Каннах по образцу Ганнибала, с удерживанием противника по всему фронту и продвижением обоих флангов, особенно правого, в Бельгии, а Бернгарди предпочитает косвенный порядок Фридриха Великого<sup>40</sup>, при Лейтене, а не при Каннах. Другие не высказываются так напрямик, но заверяю тебя, старина, что Боконсей, командир эскадрона, офицер, с которым я тебя недавно познакомил и которого ждет блестящее будущее, наизусть вы зубрил атаку Праценских высот, знает ее вдоль и поперек, держит про запас, и, если когда-нибудь ему представится случай, он своего не упустит и разыграет ее как по нотам. И прорыв центра под Риволи тоже еще повторится, если только будут войны. Все это устарело не больше Илиады. Добавлю, что мы буквально обречены на фронтальные атаки,

<sup>38</sup> ...битва при Ульме... и Росбах, и Ватерлоо... – Сен-Лу приводит примеры самых разных сражений: Ульм (1805) и Лоди (1796) – победы Наполеона, а под Лейпцигом (1813) французские войска были разбиты. При Каннах (216 до н. э.) Ганнибал одержал победу над римлянами. В 1805 г. Наполеон одержал победу под Аустерлицем. В битве при Росбахе Фридрих II разбил армию принца Субиза, а при Ватерлоо Наполеон потерпел сокрушительное поражение, предопределившее его падение.

<sup>39</sup> Маршал фон Шлиффен и генерал фон Фалькенхаузен... – Генерал фон Фалькенхаузен (1869–1926) – автор трактатов о военном искусстве, развивающих теории графа Альфреда фон Шлиффена (1833–1913), автор стратегического плана, названного его именем; этот план с успехом применялся в Первой мировой войне.

<sup>40</sup> Фридрих фон Бернгарди (1849–1930) – немецкий генерал, автор трудов по стратегии, в которых превозносит идею пангерманизма и тактику Фридриха II, позволившую одержать победу над австрийцами при Лейтене.



потому что никому не хочется вновь впасть в ошибку 1870 года, все предпочитают наступать и только наступать. Меня смущает лишь то, что эту великолепную теорию отвергают, по моим наблюдениям, только отсталые люди, а между тем один из моих молодых наставников, Манжен, гениальный теоретик, настаивает, что не следует все же отказываться от обороны, временно, разумеется. И трудно на это возразить, ведь он приводит в пример Аустерлиц, где оборона была только прелюдией к атаке и к победе<sup>41</sup>.

Эти теории Сен-Лу приводили меня в восторг. Они внушали мне надежду, что, возможно, в донсьерской жизни, когда я глядел на офицеров, которые при мне болтали и пили сотерн, набрасывавший на их лица чудесные блики, меня не обманывало то самое укрупнение масштаба, что еще недавно в Бальбеке так возвеличивало короля и королеву Океании, компанию четырех гурманов, молодого игрока, зятя Леграндена, – а ведь теперь они настолько уменьшились в моих глазах, что их как будто вообще не было. Пожалуй, мне не грозило, как это всегда бывало до сих пор, назавтра охладеть к тому, что очаровывало меня сегодня; тот человек, которым я был вот сейчас, не был обречен на скорое исчезновение, потому что я не просто загорелся на несколько вечеров пылкой и мимолетной страстью ко всему, что касалось военной жизни: все, что рассказал мне Сен-Лу об искусстве ведения войны, сообщало этой моей страсти прочный интеллектуальный фундамент и настолько укрепляло ее, что я искренне, не пытаясь с собой лукавить, верил – когда я уеду, труды моих донсьерских друзей не перестанут меня занимать, и скоро я вновь сюда вернусь. Но чтобы окончательно убедиться, что военное искусство в самом деле искусство в высшем смысле этого слова, я сказал Сен-Лу:

– Вы меня очень заинтересовали, прости, я хотел сказать: ты меня очень заинтересовал, но знаешь, меня беспокоит одно сомнение. Я чувствую, что могу увлечься военным искусством, но мне нужно поверить, что оно не очень отличается от других искусств и что в нем есть еще что-то, кроме правил. Вот ты говоришь, что битвы влекут за собой подражания. В самом деле, когда замечаешь, что сквозь современное сражение просвечивает другое, старинное, в этом, как ты говоришь, есть своя эстетика, и сказать не могу, до чего мне нравится эта идея. Но неужели гений полководца ничего не значит? Неужели он просто действует по правилам? Или все же, при равной учености, бывают военачальники, превосходящие всех прочих, как бывают великие хирурги, которые, столкнувшись с проявлениями двух заболеваний, одинаковых с физиологической точки зрения, как-то чувствуют, может быть благодаря опыту и умению интерпретировать этот опыт, что вот в этом случае нужно сделать то-то и то-то, а в другом – нечто другое, что в этом случае нужна операция, а в том без нее лучше обойтись?

– Ну конечно! Известно, что иной раз Наполеон не атаковал, хотя по всем правилам должен был атаковать – но его удерживала таинственная прозорливость. Взять хотя бы Аустерлиц или указания, которые он давал Ланну в 1806 году<sup>42</sup>. Но военачальники сплошь и рядом доктринерски копируют какой-нибудь маневр Наполеона и приходят к диаметрально противоположному результату. В 1870 году тому были десятки примеров. Однако даже если мы просто хотим вычислить, чего ждать от противника в дальнейшем, то, что он предпринял до сих пор, – не более чем симптом, который может предвещать самые разные последствия. И любая из наших догадок с успехом может подтвердиться, точно как в медицине, где, опираясь исключительно на умозаключения и науку, невозможно решить, имеет ли незримая опухоль фиброзный характер, нужно ее оперировать или нет. У великого полководца, как у великого врача,

<sup>41</sup> ...Манжен, гениальный теоретик, настаивает... к атаке и к победе. – Генерал Манжен (1866–1925) отличился во время Первой мировой войны; в 1918 г. ему удалось обратить в бегство немецкие войска. Пруст читал его статьи в «Ревю де Дё Монд».

<sup>42</sup> ...Наполеон не атаковал... указания, которые он давал Ланну в 1806 году. – 12 октября 1806 г., за два дня до битвы при Йене, Наполеон писал маршалу Ланну (1769–1809): «Сегодня искусство состоит в том, чтобы атаковать всех и вся, разбивая неприятельские части по мере того, как они соединяются».



все решает чутье, озарение, знакомое какой-нибудь мадам де Теб<sup>43</sup> (ты меня понимаешь!). Вот я тебе говорил, просто для примера, что` может означать рекогносцировка в начале сражения. Но она может означать и что угодно другое, например попытку внушить неприятелю, что атака начнется в таком-то месте, хотя на самом деле она произойдет в другом, или отвлечение противника, чтобы он не заметил подготовки к намеченной операции и скопил и расставил по местам войска не там, где они на самом деле нужны, или намерение выяснить, какими силами располагает враг, прощупать его, понять, в чем состоит его план. Иной раз в операцию вовлечены огромные силы, но это все равно не доказывает, что это не обманный маневр: пускай ее проводят взаправду, чтобы уж наверняка провести неприятеля, но все это просто для отвода глаз. Будь у меня время рассказать тебе с этой точки зрения про войны Наполеона – уверяю тебя, что за этими простыми классическими перемещениями войск, которые мы воспроизводим, и ты их увидишь на полевых учениях, если не поленишься прогуляться, поросенок... нет, прости, я же знаю, что ты болен! – так вот, на войне понимаешь, что за этими перемещениями стоят зоркость, логика и непрестанный поиск высшего командования, – и все это глубоко волнует, как свет простого маяка, обычный свет, но в то же время и эманация духа, свет, обшаривающий пространство, чтобы уберечь от гибели корабли. И я, наверно, напрасно толкую тебе только о военной литературе. На самом деле, подобно тому как состав почвы, направление ветра и освещение указывают, в какую сторону разрастется дерево, так и условия, в которых развивается кампания, и особенности местности, на которой совершается маневр, в какой-то мере определяют, какой план выберет генерал, и ограничивают его выбор. Можно предсказать продвижение армий вдоль горной цепи, из одной долины в другую, по таким-то и таким-то равнинам: в нем есть почти такая же неизбежность и такая же грозная красота, что и в горной лавине.

– Значит, теперь у тебя получается, что у полководца нет свободы выбора, а у противника нет возможности угадать его план, – а только что ты говорил мне совсем другое.

– Ничего подобного! Помнишь, в Бальбеке мы вместе читали книгу по философии, о том, как богат мир возможностей по сравнению с реальным миром<sup>44</sup>. Ну вот, в военном искусстве то же самое. В заданной ситуации напрашиваются четыре разных плана, и генерал выбрал один из них – так заболевание может развиваться по разным схемам, и врач должен быть к этому готов. И здесь опять причиной неопределенности оказываются слабость и величие человека. Предположим, например, что из четырех разных планов генерал по второстепенным причинам (таким, как дополнительные цели, или ограниченное время, или недостаточное снабжение личного состава) выбрал план номер один, не лучший, но зато менее дорогостоящий, более стремительный и осуществимый в более зажиточной местности, где легче прокормить армию. Он может начать с этого первого плана, и противник сперва станет в тупик, но вскоре разгадает, в чем он состоит, а потом этот план потерпит неудачу из-за чрезмерных трудностей – или, если угодно, из-за человеческой слабости – и генерал откажется от него и перейдет ко второму, третьему или четвертому. Но возможно, – и это, на мой взгляд, свидетельствует о человеческой силе, – он начнет с первого плана просто для виду, чтобы потом напасть на противника с той стороны, откуда он не ждет нападения. Например, под Ульмом Мак ждал неприятеля с запада, а окружили его с севера, откуда он не ждал опасности<sup>45</sup>. Хотя это, пожалуй,

<sup>43</sup> *Мадам де Теб* (1865–1916) – знаменитая в свое время ясновидящая и хиромантка; Пруст побывал у нее в 1894 г. Имя, которым она назвалась, можно прочесть как «госпожа из Фив»: в Фивах, согласно древнегреческим мифам, жила знаменитая прорицательница Манто, дочь прорицателя Тиресия. Мадам де Теб предсказала Англо-бурскую войну, Русско-японскую войну, загадочную смерть поэта Катюля Мендеса и многое другое.

<sup>44</sup> ...мы вместе читали книгу по философии... по сравнению с реальным миром. – Подразумевается «Монадология» (1714) немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716), изложившего в этой работе свое учение о монадах.

<sup>45</sup> Например, под Ульмом... он не ждал опасности. – Здесь, помимо статей Анри Биду, Пруст опирается на сочинение Карла фон Клаузевица (1780–1831) «О войне» (1818).



не лучший пример. Битва под Ульмом – один из лучших образцов обходного маневра, и ее непременно будут воспроизводить в будущем, ведь это не только классический пример, который будет вдохновлять генералов, но и своеобразный эталон, неизменный (хотя, конечно, не единственный, так что у нас всегда остается выбор), как один из типов кристаллизации. Но это все несущественно, потому что мы имеем дело с искусственными построениями. Если обратиться еще раз к нашей философской книге, это как рациональные принципы или научные законы: реальность с ними более или менее согласуется, но вспомним великого математика Пуанкаре: он не убежден, что математика – неукоснительно точная наука. Что же до уставов, о которых я тебе говорил, они, в сущности, имеют второстепенное значение, и, кстати, их время от времени меняют. Например, мы, кавалеристы, живем по Уставу полевой службы тысяча восемьсот девяносто пятого года, в сущности устаревшему, поскольку он основан на старой и отжившей доктрине, согласно которой кавалерийская атака оказывает скорее моральное воздействие на противника, устрашает его. Между тем самые разумные из наших учителей, цвет кавалерии, например тот майор, о котором я тебе рассказывал, полагают, напротив, что исход сражения решает настоящая схватка, когда дерутся на саблях и на пиках, и победителем становится самый стойкий, тот, кто не просто оказывает моральное давление и запугивает, но и превосходит противника физической силой.

– Сен-Лу прав, и в новом Уставе полевой службы, вероятно, отразится эта эволюция, – произнес мой сосед.

– Я не в претензии на тебя за подтверждение моих слов: нашего друга твои суждения убеждают явно лучше, чем мои, – со смехом заметил Сен-Лу: не то его слегка раздражала возникшая между нами симпатия, не то он из любезности хотел закрепить ее, объявив о ней во всеуслышание. – Кстати, я, пожалуй, приуменьшил значение уставов. Их, конечно, иногда меняют. Но в остальное время они управляют военной обстановкой, на их основе планируют сражения, стягивают войска. Если они отражают неверную стратегическую концепцию, они могут оказаться первопричиной поражения. Тебе это, наверно, кажется немного заумным. Главное, имей в виду, что военное искусство развивается в основном благодаря войнам как таковым. В ходе более или менее затяжной кампании каждая воюющая сторона пользуется уроками, которые ей дают успехи и промахи противника, совершенствует методы неприятеля, а тот, в свою очередь, совершенствует свое мастерство. Но все это в прошлом. Из-за чудовищного прогресса артиллерии войны будущего, если они вообще не прекратятся, станут такими короткими, что не успеют воюющие извлечь уроки из обучения, как заключат мир.

– Не будь таким обидчивым, – возразил я Сен-Лу, отвечая на первую часть его реплики. – Я жадно впитывал каждое твое слово!

– Если ты не будешь сердиться и позволишь мне тебя дополнить, – подхватил друг Сен-Лу, – я скажу, что сражения подражают другим сражениям и накладываются одно на другое не только благодаря уму военачальника. Может случиться, что из-за собственной ошибки (например, из-за недооценки сил противника) командующему придется требовать от армии чрезмерных жертв, и какие-нибудь части пойдут на эти жертвы с таким же несравненным самопожертвованием, какое наблюдалось у их предшественников в какой-то прежней битве, и войдут в историю в качестве нового примера, аналогичного предыдущему, так что эти примеры окажутся взаимозаменяемыми: в том же 1870 году взять хотя бы прусскую гвардию у деревни Сен-Прива или алжирских стрелков при Фрешвиллере и Виссембурге<sup>46</sup>.

– Как точно: взаимозаменяемыми! Прекрасно! Какой ты умница, – отозвался Сен-Лу.

---

<sup>46</sup> ...взять хотя бы прусскую гвардию у деревни Сен-Прива или алжирских стрелков при Фрешвиллере и Виссембурге. – Под Сен-Прива (8 августа 1870), Фрешвиллером (5 августа 1870) и Виссембургом (4 августа 1870) французы потерпели поражения, в результате которых Эльзас отошел к Пруссии.



Эти последние примеры произвели на меня впечатление, как всякий раз, когда в частном мне приоткрывали общее. Но по-настоящему меня интересовала гениальность в военном деле: мне хотелось понять, в чем она заключается, что предпримет гениальный полководец, когда битва вот-вот обернется поражением, как он себя поведет в заданных обстоятельствах, там, где лишенный гениальности военачальник не сумел бы противостоять неприятелю – а ведь, по словам Сен-Лу, это было вполне возможно и не раз удавалось Наполеону. И, желая понять, что такое военная доблесть, я требовал сравнения между генералами, чьи имена мне были знакомы, объяснений, кто лучше умел командовать людьми, кто лучше владел тактикой, и, пожалуй, изрядно наскучил моим новым друзьям, но они и виду не подавали, отвечая мне с неистощимой добротой.

Я чувствовал, что огражден не только от необъятной, простиравшейся во все стороны ледяной тьмы, откуда слышался иногда разве что паровозный свисток, от которого даже радостнее было сознать, что мы-то здесь, и что часы отзванивают время, к счастью, не очень позднее, и молодые люди еще не скоро разберут свои сабли и поспешат домой; и по-прежнему далеки от меня все заботы внешнего мира, и даже воспоминание о герцогине Германтской, а все благодаря доброте Сен-Лу, становившейся словно мощней и надежней, благодаря тому, что к ней добавлялась доброта его друзей, а еще благодаря теплу этого зальчика в ресторане и вкусу изысканных кушаний, которые нам приносили. Моему воображению они доставляли не меньше радости, чем чревоугодию; иногда их еще обрамляла малая частица природы, из которой они были извлечены, бугорчатая раковина устрицы, еще хранившая несколько капель соленой воды, или узловатая ветвь винограда с пожелтевшими ягодами и листьями, – несъедобные, поэтичные и далекие, как пейзаж, напоминавшие нам за ужином поочередно то о сие-сте в тени виноградника, то о морской прогулке; в другие вечера изначальная особенность блюд являлась нам благодаря усилиям повара, представлявшего каждый продукт в его природном окружении, как произведение искусства; рыбу в прямом отваре приносили в продолговатом глиняном блюде, и там она высилась, возлежав на гряде голубоватых трав, цельная, но искривленная – ведь ее бросали живьем в кипящую воду, – окруженная кольцом ракушек, в которых притаились крошечные морские существа, составлявшие ее свиту, крабы, креветки и мидии, и казалось, она была рождена в одном из керамических блюд Бернара Палисси<sup>47</sup>.

– Я ревную, я в ярости, – сказал мне Сен-Лу не то в шутку, не то всерьез, намекая на бесконечные разговоры с глазу на глаз, которые мы вели с его другом. – Вы что, считаете его умнее меня? Он нравится вам больше, чем я? Теперь, значит, все для него? (Мужчина, безумно влюбленный в женщину и живущий в окружении мужчин, которым нравятся женщины, иной раз позволяет себе шуточки, на которые бы не отважились те, кому видится в них менее невинный смысл.)

Когда завязывался общий разговор, все избегали упоминать Дрейфуса, опасаясь обидеть Сен-Лу. Однако спустя неделю два его товарища заметили ему, что странно, как это он, живя исключительно в военной среде, оказался таким дрейфусаром и чуть не антимилитаристом. «Дело в том, – сказал я, не желая углубляться в существо дела, – что влияние среды не так важно, как мы думаем...». Я, конечно, хотел на этом остановиться и не собирался опять пускаться в рассуждения, которые изложил Сен-Лу несколькими днями раньше. И тем не менее, поскольку я почти буквально повторил те же самые слова, которые он от меня уже слышал, в оправдание я добавил: «На днях я уже...» Но я упустил из виду обратную сторону восхищения, которое Робер питал ко мне и к нескольким другим людям. Это восхищение сопровождалось тем, что он полностью усваивал наши идеи и через два дня уже забывал, что это идеи не его. Поэтому, сосредоточившись на моем скромном утверждении, Сен-Лу повел себя так,

<sup>47</sup> *Бернар Палисси* (1510–1589) – французский естествоиспытатель и художник-керамист. Особенность его керамических изделий – расписанные красками рельефные изображения рыб, раковин, змей и т. д.



будто сам всегда так и думал, и поскольку, на его взгляд, я вторгся в его владения, счел своим долгом пылко меня приветствовать и одобрить:

– Ну конечно! Среда вообще не имеет значения!

И так энергично, словно боялся, что я перебыю или не пойму, добавил:

– Настоящее влияние оказывает интеллектуальная среда! Человек таков, каковы его убеждения!

На мгновение он замолчал, улыбнулся с таким видом, будто хорошо все обдумал, уронил монокль и, буравя меня взглядом, с вызывающим видом изрек:

– Все люди одинаковых убеждений похожи.

Он явно совершенно не помнил, что несколько дней тому назад услышал от меня же эти слова, хотя сами слова, наоборот, запомнил прекрасно.

Не всегда я приходил в ресторан к Сен-Лу в одном и том же настроении. Какое-нибудь воспоминание или горе могут так далеко от нас отодвинуться, что мы их больше не замечаем, но они возвращаются, причем бывает, что надолго. В иные вечера, идя по городу в ресторан, я так изнывал без герцогини Германтской, что едва мог дышать: казалось, что искусный анатом разрезал мне грудь, удалил кусок плоти и заменил таким же по размеру куском бесплотного страдания, равной долей ностальгии и любви. И даром, что разрез потом зашили аккуратными стежками, трудно живется тому, у кого вместо органов сидят внутри сожаления о другом человеке: в груди от них как будто все время тесно, и потом, какое странное ощущение, когда постоянно приходится думать о части собственного тела! Кажется все-таки, что заслуживаешь большего. При малейшем ветерке вздыхаешь не только от стеснения в груди, но и от тоски. Я смотрел на небо. Если там было ясно, я говорил себе: «Может быть, она за городом, смотрит на эти же звезды, и кто знает, а вдруг, когда я приду в ресторан, Робер мне скажет: „Хорошая новость! Я получил письмо от тети, она хочет тебя видеть, она едет сюда“». Мысли о герцогине Германтской я обнаруживал не только на небе. Каждый порыв ласкового ветерка словно приносил мне весть о ней, как когда-то весть о Жильберте на нивах Мезеглиза: мы не меняемся – в чувство, которое питаем к какому-нибудь человеку, мы переносим множество дремлющих чувств поменьше, которые этот человек в нас пробудил, хотя к нему они не имеют отношения. А потом что-то в нас заставляет как-то оправдать эти отдельные чувства, приобщить их к чувству более всеобъемлющему, общему для всего человечества: ведь отдельные люди и страдания, которые они нам причиняют, для нас лишь один из поводов вступить в отношения с человечеством. К моему горю примешивалось какое-то удовольствие именно потому, что я знал: оно – частичка всемирной любви. Иной раз мне казалось, что я узнаю горести, которые принесла мне когда-то Жильберта, узнаю печаль, нападавшую на меня по вечерам в Комбре, после того как мама уходила из комнаты, а порой мне вспоминались некоторые страницы Берготта, и, пожалуй, все эти муки не имели прямого отношения к герцогине Германтской, к ее холодности, к ее отсутствию, не были связаны с ней, как причина со следствием в уме ученого, но я и мысли не допускал, что герцогиня тут ни при чем. Ведь бывает же неопределенная физическая боль, иррадиирующая из больного органа в другие места, но стоит доктору нажать на нужную точку, как боль прекращается и проходит без следа. А сперва то, что боль ширится, растет, придавало ей какую-то роковую неизбежность, мы были не в состоянии понять, почему нам больно, и даже объяснить, где болит, и воображали, что излечиться от нее невозможно. Шагая к ресторану, я говорил себе: «Вот уже две недели я не видел герцогини Германтской». Две недели – казалось бы, ничего страшного, но дело-то было в герцогине Германтской, и я считал каждую минуту, и мне это было невыносимо. Причем не только звезды, не только ветерок, а даже сами эти арифметические подсчеты были для меня исполнены муки и поэзии. Каждый день теперь был словно подвижная вершина колеблющегося под ногами холма: я чувствовал, что с одной его стороны я могу спуститься к забвению, а с другой – ринуться навстречу жажде увидеть герцогиню. И я колебался то в одну, то в другую сторону, не в силах обрести устой-



чивое равновесие. Как-то раз я сказал себе: «Сегодня вечером наверно придет письмо», а за обедом набрался храбрости и спросил у Сен-Лу:

– Не получил ли ты известия из Парижа?

– Получил, – хмуро ответил он, – причем дурное.

Я перевел дух: ясно было, что горе именно у него и что известие от его возлюбленной. Но вскоре я понял, что одним из его последствий будет то, что Робер еще долго не сможет ввести меня к своей тетке.

Я узнал, что между ним и его возлюбленной вышла размолвка, не то по переписке, не то она как-то утром приехала, чтобы увидеться с ним между двумя поездами. А до сих пор все ссоры между ними, даже не такие крупные, всегда казались окончательными. Его подруга вечно была в дурном настроении, топала ногами, рыдала ни с того ни с сего, как дети, которые вдруг запираются в темном чулане, не идут обедать, ничего не желают объяснять, а если, исчерпав все аргументы, им дают оплеуху, рыдания только усиливаются. Сен-Лу жестоко страдал от этой ссоры, хотя сказать «жестоко страдал» было бы упрощением: эти слова не давали ни малейшего представления о том, как ему было больно. Потом он оказался один, и ему не оставалось ничего другого, как только думать об уехавшей подруге (которая перед отъездом с уважением отметила, до чего он энергичен), и тут тревоги, терзавшие его в первые часы, постепенно отступили перед непоправимой очевидностью, а когда тревоги прекращаются, испытываешь такое облегчение, что в самой несомненности ссоры открылось ему какое-то очарование, словно это была не ссора, а примирение. Немного погодя он снова начал страдать, теперь уже от неожиданной и непредвиденной боли, которую причинял себе, размышляя о том, что она, возможно, вовсе не хотела разрыва и даже ждет, чтобы он сделал первый шаг; а пока они в ссоре, она из мести может в любой вечер где-нибудь что-нибудь этакое учинить, но ему стоит только телеграфировать ей, что он едет, и тогда она ничего такого не учинит; и ведь может быть, тем, что он зря теряет время, воспользуются другие, и через несколько дней мчаться к ней будет уже бесполезно: она найдет себе другого. Все это было возможно, но он ничего не знал, подруга молчала, и в конце концов он настолько обезумел от горя, что допускал что угодно – что она прячется где-то в Донсьере или уехала в Индию.

Всем известно, что молчание – сила; но, с другой стороны, это сильное оружие в руках у тех, кого мы любим. Она усиливает тревогу того, кто ждет. Ничто не подхлестывает нашего желания увидеть любимое существо больше, чем преграды, а какая преграда непреодолимее молчания? Известно также, что молчание – пытка; оно способно свести с ума узника в тюрьме. Но в сто раз худшая пытка, чем молчать самим, – это мука выносить молчание тех, кого мы любим! Робер все время бился над вопросами: «Чем же она так занята, что молчит? Наверно, изменяет мне с другими?» А еще он думал: «Что же я ей сделал, чтобы она так молчала? Может, она меня ненавидит, и это уже навсегда». Так, терзаемый ревностью и раскаянием, он в самом деле сходил с ума от ее молчания. Кстати, этот вид молчания не только мучительнее тюрьмы, он и есть тюрьма. Да, бесплотная, но непреодолимая стена, заслон из пустого воздуха, непроницаемого для взгляда покинутого. И какой оптический инструмент чудовищнее молчания, являющего нам не одну исчезающую, а тысячу, и каждая из них предает нас по-своему? Иногда Роберу вдруг становилось легче, и он надеялся, что молчание вот-вот прервется, что придет долгожданное письмо. Он его видел, оно уже было здесь, он прислушивался к каждому шороху, он оживал, он бормотал: «Письмо! Письмо!» Ему уже мерещился вдали на мгновение воображаемый оазис нежности, но потом он снова брел по реальной и бесконечной пустыне молчания.

Он заранее переживал все горести разрыва, ни одной не упуская, а в иные минуты ему казалось, что он в состоянии их избежать: так люди улаживают все дела, собираясь в изгнание, которое никогда не произойдет, и мысли их временами начинают метаться, отрываясь от них и не зная, где окажутся завтра, словно сердце, вырванное из груди, которое еще продол-



жает биться. Во всяком случае, надежда на возвращение подруги помогала ему перенести разрыв; так вера в то, что он останется жив, помогает солдату идти навстречу гибели. Но самое неприхотливое из всех растений, выращенных человеком, – это привычка: чтобы выжить, ей не нужна питательная почва, она первая пробивается на самом, казалось бы, мрачном утесе; быть может, поначалу притворяясь, будто смирился с разрывом, позже Робер бы искренне к нему приспособился. Но неопределенность вместе с воспоминаниями об этой женщине постоянно раздували в нем чувство, похожее на любовь. Однако он заставлял себя не писать ей: вероятно, он полагал, что при определенных условиях жить без подруги не так мучительно, как с ней, тем более после такого расставания ему просто необходимо было дожидаться от нее извинений – только тогда, воображал он, она сохранит в душе если не любовь к нему, то хотя бы приязнь и уважение. Он довольствовался тем, что бегал к телефону, который недавно провели в Донсьере, и узнавал у горничной (он сам же ее и пристроил к своей подруге), как та поживает, или давал ей поручения. Правда, связаться с ней было сложно и требовало все больше времени, потому что подруга его верила своим литературным друзьям, твердившим, что столица безобразна, а главное, квартирному хозяину надоело терпеть бесконечные вопли ее животных – собак, обезьяны, канареек и попугая, – и недавно она сняла домик с участком недалеко от Версаля. Между тем сам он в Донсьере не смыкал ночью глаз. Как-то раз у меня в гостях усталость свалила его с ног, и он ненадолго задремал. Но тут же начал говорить во сне, порывался куда-то бежать, чему-то препятствовать, твердил: «Я слышу, вы не... вы не...» Потом он проснулся. Он сказал, что ему снилось, будто он за городом, у старшего квартирмейстера. И тот старается не пустить его в некоторую часть его дома. Но Сен-Лу догадался, что у старшего квартирмейстера гостит один очень богатый и совершенно порочный лейтенант, который, как он знал, домогается его подруги. И вдруг во сне он явственно слышит повторяющиеся ритмичные крики, какие всегда испускала его возлюбленная в самые сладострастные минуты. Он попытался силой заставить квартирмейстера отвести его в ту комнату. А тот его удерживал и не пускал, и все это с оскорбленным видом, мол, как это гость позволяет себе такую нескромность, – Робер сказал, что никогда этого не забудет.

– Какой дурацкий сон, – добавил он, задыхаясь.

Но я-то видел, что добрый час после этого он то и дело был готов бежать к телефону и умолять свою подругу о примирении. Мой отец незадолго до этого тоже провел телефон, но не знаю, насколько это могло послужить Сен-Лу. Да и вообще, мне казалось не вполне уместным, чтобы мои родители – пускай не они сами, а только их телефон – посредничали между Сен-Лу и его любовницей, какой бы она ни была возвышенной и благородной. Кошмар, пережитый Сен-Лу, мало-помалу изгладился из его сознания. Он приходил ко мне с рассеянным, застывшим взглядом все эти ужасные дни, и череда их вырисовывалась передо мной, как великолепная округлость прочных чугунных перил, у которых Робер застыл, гадая, какое решение примет его возлюбленная.

Наконец она спросила, согласится ли он ее простить. Как только он понял, что разрыва можно избежать, ему открылись все невыгоды нового сближения. К тому же он страдал уже меньше и почти смирился со своей болью, а если их связь возобновится, то кто знает, быть может, через несколько месяцев ему снова придется страдать от душевных ран. Колебался он недолго. Возможно, он колебался просто потому, что наконец был уверен, что любовницу можно вернуть, а раз это возможно, значит, так и будет. Она только попросила его не приезжать в Париж до первого января, чтобы дать ей возможность успокоиться. У него не хватало духу поехать в Париж, а с ней не повидаться. С другой стороны, она согласилась поехать с ним путешествовать, но для этого надо было, чтобы он получил настоящий отпуск, а капитан де Бородино никак не соглашался предоставить ему этот отпуск.

– Досадно, что из-за этого откладывается наш с тобой визит к моей тетке. Но я наверняка приеду в Париж на Пасху.



– На Пасху мы к ней поехать не сможем, я уже буду в Бальбеке. Но это совершенно неважно.

– В Бальбеке? Но вы же туда ездили только в августе!

– Да, но в этом году меня туда посылают раньше из-за здоровья.

Больше всего он боялся, как бы я не подумал дурно о его подруге после всего, что он мне рассказывал. «Она такая вспыльчивая просто потому, что слишком искренняя, чувства захватывают ее всю целиком. Но это благороднейшее создание. Ты не представляешь себе, сколько в ней тонкости, сколько поэзии. Каждый год на День поминовения усопших она ездит в Брюгге<sup>48</sup>. Здорово, правда? Если ты с ней когда-нибудь познакомишься, сам увидишь, какая это возвышенная натура...» И, благо его насквозь пронизал тот особый язык, на котором говорили в литературной среде вокруг этой женщины, он добавил: «В ней есть нечто звездное и, пожалуй, жреческое, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать: что-то от поэта и от пророка».

Весь ужин я придумывал, под каким бы предлогом Сен-Лу мог попросить тетку, чтобы она приняла меня без него. Этим предлогом оказалось мое желание вновь увидеть картины Эльстира, великого художника, с которым мы оба познакомились в Бальбеке. Впрочем, это был не просто предлог: когда я ходил к Эльстиру, я просил у его живописи, чтобы она подарила мне способность понять и полюбить что-то такое, что было бы лучше, чем она сама: настоящую оттепель, подлинный уголок провинции, живых женщин на пляже (в лучшем случае я заказал бы ему портрет реальности, в которую не умел вникнуть, – боярышниковую тропу, и не для того, чтобы сохранить для меня ее красоту, а для того, чтобы открыть мне на нее глаза); теперь же, наоборот, желание во мне возбуждали оригинальность и прелесть тех картин, и больше всего я хотел увидеть другие полотна Эльстира.

Причем мне казалось, что каждая его картина – нечто иное, чем живописные шедевры других художников, пускай даже более великих. Его живопись была как обнесенное высокой стеной королевство с неприступными границами, выстроенное из небывалого матерьяла. Жадно собирая немногие журналы, где публиковались о нем статьи, я узнал, что пейзажи и натюрморты он начал писать недавно, а начинал с картин на мифологические сюжеты (фотографии двух таких картин я видел у него в мастерской), а позже долго находился под влиянием японского искусства.

Некоторые полотна, самые характерные для разных его манер, хранились в провинции. Какой-нибудь дом в городке Лез-Андели, где находился один из его прекраснейших пейзажей, манил меня в путешествие не меньше, чем деревушка под Шартром, где в шершавый строительный камень был вставлен знаменитый витраж; и к обладателю этого шедевра, к человеку, который, подобно астрологу, замкнулся в своем доме грубой постройки на главной деревенской улице и искал ответов на свои вопросы в одном из тех зеркал, что отражают мир, в картине Эльстира, за которую уплатил, быть может, несколько тысяч франков, – к этому человеку влекла меня та симпатия, что сближает даже сердца, даже характеры людей, одинаково мыслящих о самом важном. Так вот, в одном из тех журнальчиков указывалось, что три выдающиеся работы моего любимого художника принадлежат герцогине Германтской. И в тот вечер, когда Сен-Лу сообщил мне о поездке своей подруги в Брюгге, у меня при всех его друзьях, в сущности, совершенно искренне вырвалось наобум:

– Послушай-ка, можно еще несколько слов о даме, о которой мы уже говорили. Помнишь Эльстира, художника, с которым мы познакомились в Бальбеке?

– Еще бы, ну конечно.

– Помнишь, как я им восхищался?

---

<sup>48</sup> Каждый год на День поминовения усопших она ездит в Брюгге. – Рашель совершает это паломничество в память о романе бельгийского символиста Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге» (1892), высоко оцененного современниками; эта книга, повествующая о вдове, поселившемся в городе Брюгге и оплакивающим свою утрату, – один из самых ярких образцов декадентства конца XIX в. и настольная книга молодых декадентов.



– А как же, мы и письмо ему передавали.

– Тогда, быть может, ты знаешь, по какой причине, хотя не самой главной, скорее второй-степенной, мне бы хотелось познакомиться с той дамой?

– Да говори же скорей! Сколько отступлений!

– Дело в том, что она обладает по меньшей мере одной превосходной картиной Эльстира.

– Да что ты! Я и не знал.

– Эльстир наверняка будет в Бальбеке на Пасху, вы же знаете: теперь он почти круглый год проводит на том побережье. Мне бы ужасно хотелось повидать эту картину перед отъездом. Не знаю, насколько близкие отношения у вас с теткой: не могли бы вы представить меня ей с наилучшей стороны, так, чтобы она не отказала вам, а потом попросить, чтобы она позволила мне посмотреть эту картину без вас, поскольку вы будете в отъезде?

– Договорились, я вам за нее отвечаю, я все улажу.

– Робер, как я вас люблю!

– Очень мило, что вы меня любите, но еще лучше будет, если вы перейдете со мной на «ты»: вы мне обещали, и ты уже начал было обращаться ко мне на «ты».

– Я надеюсь, вы тут не об отъезде секретничаете, – сказал мне один из друзей Робера. – Вы же знаете, если Сен-Лу уедет в отпуск, это ничего не изменит, мы-то останемся. Вам будет, возможно, не так весело, но мы все из кожи вон будем лезть, чтобы вы не чувствовали его отсутствия.

В самом деле, когда все уже смирились с тем, что подруга Робера поедет в Брюгге одна, внезапно выяснилось, что капитан де Бородино, до сих пор и мысли не допускавший, что предоставит сержанту Сен-Лу длительный отпуск для поездки в Брюгге, внезапно дал на это согласие. Вот как это произошло. Принц де Бородино весьма гордился своей пышной шевелюрой и прилежно посещал лучшего в городе парикмахера, в прошлом – подмастерье парикмахера, стригшего самого Наполеона III. Капитан де Бородино был со своим парикмахером в наилучших отношениях: при всех своих величественных манерах, с простыми людьми он держался запросто. Но принц задолжал парикмахеру лет за пять, и счет его все раздувался благодаря флаконам португальского одеколona и туалетной воды «Суверен», щипцам, бритвам, ремням для правки бритв, а также мытью головы, стрижкам и так далее, между тем как Сен-Лу, обладатель нескольких экипажей и верховых лошадей, платил наличными, а потому парикмахер ценил его выше принца. Узнав, как огорчается Сен-Лу из-за того, что не может уехать с подругой, он произнес пылкую речь на эту тему перед принцем, запеленатым в белоснежный стихарь, пока цирюльник, запрокинув ему голову, угрожал ему бритвой. Повесть о галантных похождениях молодого человека исторгла у капитана-принца снисходительно-бонапартистскую улыбку. Вряд ли он думал о своем неоплаченном счете, но рекомендация парикмахера расположила его к благодущию, между тем как из уст какого-нибудь герцога вызвала бы только раздражение. Не успели смыть пену у него с подбородка, как он пообещал дать отпуск и в тот же вечер подписал его. А парикмахер вообще-то имел привычку без конца хвастаться и, будучи искусным вруном, приписывал себе всякие вымышленные подвиги, но на сей раз, оказав Сен-Лу вышеозначенную услугу, не только не развонил о своем добром деле, но даже словом не обмолвился об этом Роберу, словно тщеславие неотделимо от вранья, а если врать бессмысленно, то оно уступает место скромности.

Все друзья Робера говорили мне, что сколько бы я ни пробыл в Донсьере и когда бы сюда ни вернулся, в том случае, если Робер будет в отъезде, их экипажи, лошади, дома, свободное время будут к моим услугам, и я чувствовал, что молодые люди от чистого сердца готовы своим богатством, юностью, энергией поддержать меня в моей слабости.

– Вообще говоря, почему бы вам, – продолжали друзья Сен-Лу, исчерпав все уговоры, – не приезжать к нам каждый год? Вы же сами видите, наша простая жизнь вам по душе! Вы интересуетесь всем, что делается в полку, как будто вы один из наших.



А я и в самом деле с жадным любопытством продолжал допытываться, к кому из офицеров, которых я знал по имени, они относятся лучше, к кому хуже, кто, по их мнению, заслуживает большего восхищения, – так в коллеже я расспрашивал одноклассников об актерах Французского театра. Если кто-нибудь из друзей Сен-Лу вместо генерала, которого всегда называли раньше всех, какого-нибудь Галифе или Негрие<sup>49</sup>, объявлял: «Да ведь Негрие – военачальник более чем заурядный» и бросал новое имя, вкусное и незатасканное, скажем, По или Жеслена де Бургонь<sup>50</sup>, меня охватывало то же счастливое изумление, что в школьные годы, когда надоевшие имена Тирона или Февра отступали в тень, оттесненные внезапно воссиявшим и неистрепанным именем Амори<sup>51</sup>. «Лучше самого Негрие? Чем же? Приведите пример». Мне хотелось обнаружить тонкие различия даже между младшими офицерами полка, и я надеялся с помощью этих различий уловить самую сущность превосходства одних военных над другими. Среди тех, кем я больше всего интересовался, был принц де Бородино<sup>52</sup>, ведь он попадался мне на глаза чаще всех. Но хотя Сен-Лу и его друзья отдавали должное красавцу-офицеру, обеспечивавшему эскадрону безукоризненную выправку, как человек он был им неприятен. О нем, разумеется, не говорили тем же тоном, что о некоторых офицерах, выслужившихся из солдат, или о франкмасонах, которые сторонились товарищей и угрюмостью напоминали унтеров, и все-таки капитан де Бородино, казалось, не был для них таким же офицером-дворянином, как другие, да он и впрямь от них значительно отличался, взять хотя бы его отношение к Сен-Лу. Другие пользовались тем, что Сен-Лу всего-навсего младший офицер, а значит, его могущественное семейство будет радо, если его пригласят старшие по чину (которыми бы в другом случае его родные пренебрегли), и не упускали случая позвать его за свой стол, когда на обеде присутствовала какая-нибудь важная персона, способная помочь юному сержанту. И только капитан де Бородино поддерживал с Робером чисто служебные, хотя, впрочем, превосходные отношения. Что и говорить, деду принца чин маршала и титул принца-герцога были пожалованы самим Императором, с чьим семейством он затем породнился благодаря женитьбе, а позже отец принца женился на кузине Наполеона III и после государственного переворота дважды был министром; но сам-то принц догадывался, что это все мало что значит для Сен-Лу и круга Германтов, тем более что они придерживались совершенно других воззрений и нисколько с ним не считались. Он подозревал, что для Сен-Лу он, родня Гогенцоллернам, был не настоящим дворянином, а внуком арендатора, но зато и сам смотрел на Сен-Лу как на сына человека, чье графство было подтверждено Императором (в Сен-Жерменском предместье таких называли «обновленными графами»), человека, ходатайствовавшего о префектуре, а потом о весьма мелкой должности под началом его высочества принца де Бородино, государственного министра, к которому он в письмах обращался «Монсеньер» и который был племянником государя.

А может, и не просто племянником. Поговаривали, что первая принцесса де Бородино выказывала особое расположение Наполеону I, за которым последовала на остров Эльбу, а вторая – Наполеону III. В невозмутимом лице капитана проступали если не фамильные черты

<sup>49</sup> ...какого-нибудь Галифе или Негрие... – Генерал Франсуа-Оскар де Негрие (1839–1913) участвовал во Франко-прусской войне (1870–1871), а затем сыграл важную роль во время колониальной войны в Алжире (1881) и Франко-китайской войны в Тонкине (1884–1885). Генерал де Галифе (1830–1909), кроме всего прочего, отличился при разгроме Парижской коммуны (1870).

<sup>50</sup> ...скажем По или Жеслена де Бургонь... – Генерал Жеслен де Бургонь (1847–1910) – автор труда «Поэтапная подготовка кавалерийского полка военными экзерсисами и маневрами» (1885). Генерал По (1848–1932), раненный под Фрешивиллером, был в 1899 г. назначен командующим эльзасской армией.

<sup>51</sup> ...имена Тирона или Февра отступали в тень, оттесненные... именем Амори. – Первые двое – актеры театра «Комеди Франсез»: Шарль Тирон (1830–1891) был занят в комических ролях, Александр-Фредерик Февр (1835–1916) – в пьесах современного репертуара, Амори – псевдоним Эрнеста Соке (1849–1910), актера театра «Одеон».

<sup>52</sup> ...принц де Бородино... – По-видимому, моделью для принца де Бородино послужил Прусту полковник Валевски, о котором поговаривали, что он внук Наполеона I; он был капитаном Пруста, когда тот проходил военную службу в Орлеане.



Наполеона I, то уж во всяком случае неподвижная маска заученного величия, но главное, нечто в печальном и добром взгляде этого офицера, в его висячих усах наводило на мысль о Наполеоне III; сходство было столь разительно, что когда после Седана он просил позволения последовать за Императором, Бисмарк, к которому его послали, сперва отказал ему в этой просьбе, но случайно его взгляд упал на молодого человека, уже собиравшегося уходить, и это сходство внезапно так его потрясло, что он спохватился, окликнул посетителя и дал разрешение, в котором уже успел ему отказать, как отказывал всем прочим.

Принц де Бородино часто приглашал к себе двух славных лейтенантов-разночинцев, однако не желал ни шагу сделать навстречу Сен-Лу и другим обитателям Сен-Жерменского предместья, состоявшим в том же полку, а все потому, что судил о подчиненных с высоты имперского величия и находил между ними ту разницу, что одни подчиненные знали свое место, и с ними он охотно водился, потому что при всей своей кажущейся величественности, был, в сущности, веселый и славный малый, а другие, не признавая своего подчиненного положения, претендовали на собственное превосходство, и этого он не терпел. И если все прочие офицеры полка рады были пообщаться с Сен-Лу, то принц де Бородино, даром что Робера ему рекомендовал сам маршал де Х..., ограничивался тем, что благожелательно относился к нему на службе, где молодой сержант, впрочем, вел себя выше всяких похвал, но никогда не звал к себе, не считая одного особого случая, когда ему в каком-то смысле пришлось его пригласить, а поскольку случай этот произошел при мне, то Роберу велено было привести и меня. В тот вечер, наблюдая Сен-Лу за столом у его капитана, я даже по манерам, по элегантности каждого из них легко мог судить о разнице между двумя аристократиями: старинными родами и знатью времен Империи. Детище касты, чьи недостатки вошли в его плоть и кровь, как бы он ни отрекался от них всеми силами ума, касты, которая, утратив реальную власть по меньшей мере столетие назад, давно уже считает привитые ей с детства покровительственно-дружелюбные манеры обычным упражнением, в сущности бесцельным, но забавным, вроде верховой езды или фехтования, резко отличаясь этим от буржуа, которых эта знать настолько презирует, что воображает, будто льстит им своей фамильярностью и оказывает честь бесцеремонностью, Сен-Лу при знакомстве дружески пожимал руку любому буржуа, пускай отродясь не слышал его имени, и в разговоре обращался к нему «мой дорогой» и при этом то закладывал ногу на ногу, то разваливался на стуле в развязной позе, то ухватывал пальцами лодыжку закинутой на колено ноги. В отличие от знати, чьи титулы еще не утратили значения, поскольку по-прежнему подтверждались огромными майоратами – наградой за доблестную службу и памятью о высоких постах, на которых приходилось командовать множеством людей и понимать человеческую натуру, принц де Бородино – не столько, может быть, осознанно, ясно и четко, умом, сколько всем телом, выдававшим это понимание каждой позой, всем своим поведением, – считал свой ранг истинным преимуществом; к тем самым простолюдинам, которых Сен-Лу похлопывал по плечу и брал под руку, он обращался любезно и вместе с тем важно, причем врожденные приветливость и добродушие умерялись величавой сдержанностью, а тон был проникнут искренней благожелательностью и умышленным высокомерием. Объяснялось это, по-видимому, тем, что он чувствовал себя ближе к наиболее важным посольствам и ко двору, где его отец занимал высочайшие должности и где манеры Сен-Лу с его привычкой класть локти на стол и закидывать ногу на колено, пришлось бы некстати; но главное, он меньше презирал буржуазию, ведь она была тем источником, где первый император обрел своих маршалов, свою знать, а второй нашел и Фульда, и Руэра<sup>53</sup>.

Конечно, помыслы отца и деда на самом деле были чужды капитану де Бородино: ему не на что было их направить, ведь сам он всего-навсего командовал эскадроном, даром что был

<sup>53</sup> ...нашел и Фульда, и Руэра. – Ашиль Фульд (1800–1884) – французский банкир, с 1849 г. министр финансов; Эжен Руэр (1814–1884) – адвокат, депутат, министр, с 1870 г. президент Сената.



сыном или внуком императора. Но подобно тому, как дух ваятеля, давно угасший, годы спустя продолжает придавать форму изваянной им статуе, так эти помыслы укоренились, осуществились, воплотились в нем, отразились в его лице. С горячностью первого Императора распекал он какого-нибудь бригадира, с мечтательной меланхолией второго выдыхал дым папиросы. Когда, одетый в штатское, он проходил по улицам Донсьера, глаза его по-особому блистали из-под котелка, окружая капитана сиянием высочайшего инкогнито; все трепетали, когда он входил в кабинет старшего сержанта, а за ним по пятам шагали адъютант и фурыер, точь-в-точь Бертье и Массена<sup>54</sup>. Выбирая сукно на брюки для своего эскадрона, он устремлял на капрала-портного взор, способный разрушить замыслы Талейрана и обмануть Александра; а подчас, осматривая приготовленные для солдат квартиры, он замирал, в его прекрасных голубых глазах отражалась мечта, он тербил усы, и все это с таким видом, будто трудится над объединением Пруссии и Италии. И тут же он из Наполеона III преображался в Наполеона I, выговаривал подчиненным за то, что амуниция не начищена до блеска, и требовал, чтобы ему принесли на пробу солдатской еды. А дома у него, в его частной жизни, когда он принимал жен офицеров-буржуа (при условии, что офицеры не были франкмасонами), мало того что угощение подавалось на синем королевском саксонском фарфоре, достойном посланника (этот сервиз был подарен его отцу Наполеоном и в провинциальном доме капитана на бульваре выглядел еще изысканнее, как те фарфоровые редкости, которые туристам нравятся куда больше в деревенском буфете старинного имения, приспособленного под процветающую ферму, привлекающую толпу покупателей), но не таил он от гостей и других даров Императора: это были благородные и чарующие манеры – они тоже восхитили бы всех, будь ими наделен обладатель самой что ни на есть представительской должности, хотя в глазах некоторых «высокое» происхождение обрекало его на пожизненный остракизм, оскорбительный и несправедливый, – и непринужденность обращения, и доброта, и благожелательность, и взгляд, под синей своей эмалью, тоже королевской, хранящий образы древней славы, – взгляд, подобный таинственной, светящейся, пришедшей из прошлого реликвии. А насчет отношений с буржуазией, которые принц поддерживал в Донсьере, следует кое-что добавить. Подполковник превосходно играл на рояле, жена начальника медицинской службы пела так, будто получила диплом Консерватории<sup>55</sup>. Обе супружеские пары раз в неделю обедали у господина де Бородино. И это им было, разумеется, лестно, ведь они знали, что, уезжая в отпуск в Париж, принц обедает там у госпожи де Пурталес, у Мюратов<sup>56</sup> и так далее. Но они думали: «Он простой капитан, ему еще везет, что мы к нему приходим. Впрочем, он наш истинный друг». Но когда господин де Бородино, издавна предпринимавший шаги, чтобы перебраться поближе к Парижу, получил назначение в Бовэ<sup>57</sup>, он переехал и сразу же полностью забыл обе супружеские пары, как забыл донсьерский театр и ресторанчик, где часто обедал; к огромному негодованию подполковника и начальника медицинской службы, ни тот, ни другой ни разу за всю дальнейшую жизнь не получили от него ни одной весточки.

Как-то утром Сен-Лу признался мне, что написал моей бабушке, рассказал ей, как я поживаю, и, поскольку между Парижем и Донсьером уже была налажена телефонная связь, подал ей идею поговорить со мной по телефону. Словом, в этот же день она должна была меня вызвать, и он посоветовал мне не позже чем без четверти четыре прийти на почту. Телефон

<sup>54</sup> ...точь-в-точь Бертье и Массена. – Луи Александр Бертье (1753–1815) и Андре Массена (1758–1817) – наполеоновские маршалы.

<sup>55</sup> ...как старый диплом Консерватории. – До 1990 г. тем, кто успешно прошел четырехлетний курс обучения в парижской и лионской Высшей национальной консерватории музыки и танца, выдавался особый диплом (le premier prix du Conservatoire), позже замененный стандартным дипломом о высшем образовании.

<sup>56</sup> ...у госпожи де Пурталес, у Мюратов... – Мюраты – потомки наполеоновского маршала Мюрата (1767–1815); графиня де Пурталес (1832–1914) – одна из фрейлин императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

<sup>57</sup> Бовэ – старинный город в департаменте Уазы, с XV в. знаменитый производством шпалер и декоративных тканей.



тогда еще не был так распространен, как в наши дни. Однако привычка так быстро лишает всякой таинственности священные силы, с которыми мы соприкасаемся, что, когда меня не соединили немедленно, я подумал только, что все это очень долго и весьма неудобно; мне хотелось чуть ли не жалобу написать. Как всем нам теперь, мне казалось, что восхитительное волшебство, которым мы внезапно овладели, вершится недостаточно быстро, пускай даже оно в несколько мгновений доставляет к нам того, с кем нам хотелось поговорить, и вот он здесь, хоть и невидимый, но в то же время и у себя за столом, в том самом городе, где живет (бабушка, само собой, в Париже), в далеких краях, где, возможно, и погода другая, и ничего нам не известно ни о его обстоятельствах, ни о том, чем он занят, но сейчас он нам об этом расскажет и по нашему капризу во мгновение ока, вместе со всем, что его окружает, перенесется за сотни лье, прикинется к нашему уху. А сами мы словно персонаж сказки, которому волшебница, по его просьбе, явила в необыкновенном сиянии его бабушку или невесту в тот миг, когда она листает книгу, или проливает слезы, или рвет цветы в двух шагах от наблюдателя, и в то же время очень далеко, в том месте, где она находится на самом деле. Чтобы свершилось это чудо, нам нужно всего лишь поднести губы к волшебной мембране и призвать (хотя иной раз, не скрою, это занимает довольно много времени) Недремлющих Дев, чьи голоса мы слышим каждый день, а лиц никогда не видим; это наши ангелы-хранители, ревниво охраняющие врата, что ведут в безбрежную тьму; по изволению этих Всемогущих Дев отсутствующие возникают рядом с нами, пускай нам и не дозволено на них взглянуть: это Данаиды, повелительницы невидимого, что беспрестанно опорожняют, и наполняют, и передают друг дружке кувшины звуков; это ироничные Фурии – в тот самый миг, когда мы нашептываем признания подруге, надеясь, что никто нас не слышит, они безжалостно кричат нам: «Слушаю!»; это неизменно сердитые служанки Тайны, обидчивые жрицы Незримого, фрейлины телефона!

И едва во тьме, полной видений, внятной лишь нашему слуху, прозвучал наш призыв, тут же раздается легкий шум, неразборчивый шум преодолеваемых пространств, и вот уже до нас донесся голос любимого человека.

Это он, его голос говорит с нами, он здесь. Но как далек этот голос! Сколько раз я не мог слышать его без тоски, и как будто из-за того, что невозможно, не пропутешествовав много часов кряду, увидеть ту, чей голос раздается так близко от моего уха, острее чувствовал, как обманчива иллюзия самой ласковой близости и какое расстояние может нас разделять с любимыми в тот самый миг, когда кажется, стоит лишь руку протянуть, чтобы их удержать. Такой близкий голос, он в самом деле здесь – несмотря на разлуку и расстояние! Но это и чаянье вечной разлуки! Как часто я слушал, не видя, ту, что говорила со мной издалека, и мне чудилось, что ее голос вызывает ко мне из бездны, откуда нет возврата, и на меня веяло ужасом, что обрушится на меня в тот день, когда этот же голос (одинокий и уже не привязанный к телу, которого я больше никогда не увижу) станет нашептывать мне на ухо свои слова, летающие с губ, уже недоступных для моих поцелуев, потому что они навсегда обратились в прах.

В тот день в Донсьере чудо не произошло. Когда я пришел на почту, оказалось, что бабушка уже звонила; я вошел в кабину, линия была занята, там кто-то бормотал, не зная, очевидно, что отвечать некому, потому что, как только я поднес к уху трубку, этот кусок дерева начал болтать, как Полишинель; я заставил его замолчать, точь-в-точь как в кукольном театре, положив трубку на рычаг, но как только я вновь подносил ее к уху, она, подобно Полишинелю, возобновляла свою трескотню. В конце концов я потерял всякую надежду, окончательно положил трубку на рычаг, желая пресечь конвульсии этого голосистого обрубка, тараторившего до последней секунды, и пошел искать служащего, а он мне сказал немного подождать; потом я заговорил, и внезапно, после нескольких мгновений тишины, услышал голос, который, казалось мне, я так хорошо знал – а на самом деле не знал, ведь до сих пор, что бы ни говорила мне бабушка, я всегда следил за смыслом слов по раскрытой партитуре ее лица, где важную роль играли глаза; а сам ее голос я слушал сегодня впервые. Пропорции ее голоса словно измени-



лись с тех пор, как он оказался самостоятельным и зазвучал соло, без аккомпанемента, исполняемого чертами лица, и тут я обнаружил, какой он добрый и кроткий; впрочем, возможно, до сих пор в нем никогда не звучало так много теплоты: бабушка чувствовала, что я далеко, что я страдаю, и дала волю всей той нежности, которую обычно сдерживала и таила из педагогических соображений. Он был кроток, но до чего же он был печален – его кротость была словно совсем уж очищена от малейшей суровости, от малейшего сопротивления окружающим, от малейшего эгоизма, никакому другому человеческому голосу невозможно было быть таким; деликатный, а потому хрупкий, он словно в любую минуту готов был надломиться, прерваться чистым потоком слез; и оттого, что он оказался со мной один, лишенный маски-лица, я впервые улавливал в нем горести, всю жизнь проделывавшие в нем тонкие трещинки.

Я слышал голос, ничего больше, но только ли от голоса проснулось во мне это новое душевраздирающее ощущение? Нет конечно, но одиночество голоса было словно символ, воплощение и прямое следствие другого одиночества, бабушкиного, ведь она рассталась со мной в первый раз в жизни. Указания и запреты, которые я постоянно слышал от нее в повседневной нашей жизни, скука послушания или горячка мятежа, умерявшие мою к ней нежность, исчезли в этот миг, а может быть, и на будущее (ведь бабушка больше не требовала, чтобы я был при ней, у нее в повиновении, – сейчас она говорила мне о своей надежде, что я останусь в Донсьере или, во всяком случае, побуду там как можно дольше, и это наверняка пойдет на пользу и моему здоровью, и работе); под маленьким раструбом, прижатым к моему уху, осталась только наша взаимная нежность, освободившаяся от напора повседневных противоречивых порывов и страстей, а потому непобедимая и завладевшая мною безраздельно. Как только бабушка сказала, чтобы я оставался в Донсьере, мне тут же страшно, безумно захотелось домой. Она предоставляла мне свободу, а я и вообразить не мог, что она когда-нибудь на это согласится, и от этой свободы внезапно мне стало так тяжело на душе, как будто я получил ее после бабушкиной смерти, как будто я-то ее люблю по-прежнему, а она навсегда меня покинула. Я кричал: «Бабушка, бабушка!» и хотел ее поцеловать, но со мной был только голос, неосязаемый призрак, такой же, быть может, как тот, что явится мне после ее смерти. «Поговори со мной!» – но в этот момент я перестал слышать ее голос и остался совсем один. Бабушка меня больше не слышала, связь прервалась, мы были отрезаны друг от друга, недостижимы друг для друга, я продолжал ее звать на ощупь в темноте и чувствовал, что ее зов до меня тоже не долетает. Меня трясло от того самого ужаса, что давным-давно напал на меня в детстве, в тот день, когда я потерял бабушку в толпе; ужас не оттого, что я не мог ее найти, а оттого, что знал: она меня ищет и понимает, что я тоже ее ищу; ужас такой, будто обращаешься к тем, кто уже не может ответить, и хочешь, чтобы они хотя бы услышали все, чего ты не высказал им раньше, и уверили тебя, что больше не страдают. Мне казалось, что возлюбленная тень уже ускользнула от меня и затерялась среди других теней, и, один перед аппаратом, я все повторял понапрасну: «Бабушка, бабушка!», как Орфей, оставшись один, повторяет имя покойной. Я собирался уйти с почты, разыскать Робера в ресторане и сказать ему, что мне, вероятно, вот-вот придет телеграмма, из-за которой мне нужно будет уехать, и мне бы следовало на всякий случай узнать расписание поездов. Но все-таки, прежде чем решиться, я хотел последний раз воззвать к Девам Ночи, к Посланницам речи, к безликим Божествам; но капризные Стражницы не пожелали распахнуть волшебные врата, впрочем, вероятно, это было и не в их силах: напрасно они вновь и вновь неустанно призывали, по своему обычаю, почтенного изобретателя типографии, и юного принца, шофера и любителя импрессионистов (он же племянник капитана де Бородино), – ни Гуттенберг, ни Ваграм<sup>58</sup> не отвечали на их заклинания, и я удалился, чувствуя, что Невидимое безответно.

<sup>58</sup> ...ни Гуттенберг, ни Ваграм... – Имеются в виду, разумеется, не сами Гуттенберг и Ваграм, а две важнейшие телефонные станции в Париже, на авеню Ваграм и на улице Гуттенберга. Последний принц де Ваграм (1883–1918) был известным



Вернувшись к Роберу и его друзьям, я не признался им, что сердце мое уже не с ними, что мой отъезд – дело решенное и пересмотру не подлежит. Сен-Лу как будто поверил, но позже я узнал, что он с первой минуты понял, что мои колебания – сплошное притворство и что назавтра меня уже здесь не будет. Пока его друзья, не обращая внимания на то, что кушанье стынет, искали вместе с ним в справочнике подходящий поезд на Париж, а в холодной звездной ночи раздавались свистки локомотивов, я уже не чувствовал того умиротворения, которым столько раз по вечерам оделяла меня дружба тех и дальний шум других. А ведь в этот вечер все по-прежнему было на месте, и друзья, и поезда. Теперь предстоящий отъезд угнетал меня меньше: ведь я уже не должен был думать о нем один, я направил на исполнение своего плана более здравые и умелые силы моих энергичных друзей, товарищей Робера, а также и других могучих созданий, поездов, чьи разъезды взад и вперед по утрам и вечерам между Донсьером и Парижем, как я теперь понимал, откалывали крошку за крошкой от слишком уж плотного и невыносимого бремени моей долгой разлуки с бабушкой, ежедневно напоминая о возможности вернуться.

– Я не сомневаюсь, что ты сказал правду и еще не собираешься от нас уезжать, – со смехом сказал Сен-Лу, – но сделай так, будто ты уезжаешь, и приходи завтра утром пораньше ко мне попрощаться, а не то я рискую тебя больше не увидеть; я обедаю в городе, капитан мне разрешил; мне нужно будет вернуться к двум часам, потому что потом мы до конца дня отправимся на учения. Я обедаю за три километра отсюда и надеюсь, хозяин дома доставит меня в казарму вовремя.

Не успел он это сказать, как за мной пришли из гостиницы: меня приглашали на почту для телефонного разговора. Я понесся туда, потому что почта уже закрывалась. В ответах, которые давали мне служащие на мои вопросы, то и дело мелькало слово «междугородный». Я был уже вне себя от беспокойства, потому что вызов поступил от бабушки. Наконец дали связь. «Бабушка, это ты?» Женский голос с сильным английским акцентом ответил мне: «Да, но я не узнаю вашего голоса». Я тоже не узнавал голоса моей собеседницы, и потом, бабушка не обращалась ко мне на «вы». Наконец все объяснилось. Имя того молодого человека, которого вызвала на переговоры его бабушка, было очень похоже на мое, и жил он в пристройке к гостинице. Поскольку вызов произошел в тот самый день, когда я звонил бабушке, я ни на миг не усомнился в том, что это она мне звонит. А это оказалось простым совпадением: и почта, и гостиница допустили ошибку.

На другое утро я опоздал и упустил Сен-Лу, который уже уехал обедать в соседний замок. Около половины второго я вышел побродить вокруг казармы, чтобы застать его, когда он вернется, как вдруг, переходя через какую-то улицу, увидел тильбюри, летевший в том же направлении; проносясь мимо, он заставил меня посторониться; экипажем правил сержант с моноклем в глазу, это был Сен-Лу. Рядом сидел друг, у которого Робер обедал, – я уже встречал его как-то раз в гостинице, где собирались его друзья. Я не осмелился окликнуть Робера, поскольку он был не один, но, надеясь, что он возьмет меня с собой, я попытался привлечь его внимание поклоном, что было вполне оправдано присутствием незнакомого лица. Я знал, что Робер близорук, но надеялся, что если уж он меня увидит, то непременно узнает, однако он заметил мой поклон и ответил на него, но не остановился и унесся прочь, не сбавляя скорости, не улыбувшись, даже ни один мускул у него на лице не дрогнул: он только две минуты держал руку поднятой до уровня кепи, словно приветствуя незнакомого солдата. Я побежал к казарме, но до нее было еще далеко; когда я добрался, полк уже строился во дворе, куда меня не пустили, и я был в отчаянии, что не сумел проститься с Сен-Лу; я поднялся в его комнату, его там уже не было; мне оставалось узнать о нем у кучки солдат, освобожденных от маневров по болезни, у



новобранцев, также освобожденных, и у молодого дворянина-ветерана, смотревших, как строится полк.

– Вы не видали сержанта Сен-Лу? – спросил я.

– Он уже вышел, – отвечал ветеран.

– Я его не видел, – сказал бакалавр.

– Не видел? – вмешался ветеран, забыв обо мне. – Не видел нашего славного Сен-Лу, не видел, как наш паренек форсит в новых штанцах! Ух, погоди, наш капиташа увидит эти его штаны из офицерского сукна!

– Да ты шутишь, из офицерского сукна, – возразил юный бакалавр, который был болен, остался в казарме, на маневры не ехал и не без опаски пытался дерзить ветеранам. – Тоже мне офицерское, так себе сукно.

– Что?.. – в ярости воскликнул ветеран, тот, что говорил о «пареньке».

Его возмутило, что молодой бакалавр подвергает сомнению офицерское сукно паренька, но он был бретонец, родился в деревне Пенгверн-Стереден, французский выучил с таким трудом, как если бы он был англичанином или немцем, и когда он волновался, то, чтобы выиграть время, повторял одно и то же раза два-три, пока искал нужные слова, а после этой подготовки демонстрировал свое красноречие, то есть повторял несколько слов, которые знал тверже других, но без спешки, старательно выговаривая каждый звук, поскольку произношение давалось ему с трудом.

– Значит, так себе сукно? – продолжал он с яростью, постепенно возраставшей по мере того, как он все больше воодушевлялся и говорил все медленнее. – Значит, так себе сукно? А я говорю тебе, это офицерское сукно, я же говорю тебе, значит я знаю, что я говорю, а как ты думал!

– Ладно, – сказал молодой бакалавр, сраженный этой аргументацией. – Не будем разводить турусы на колесах.

– Глянь, а вот как раз наш капиташа идет. Нет, ты только посмотри на Сен-Лу: как ноги скидывает! а как голову держит! Нипочем не скажешь, что сержант! А монокль, эх, так и летает.

Солдатам мое присутствие не мешало, и я попросил, чтобы мне тоже дали посмотреть из окна. Они не возражали, хоть и не потрудились уступить мне место. Я увидел, как, пустив лошадь рысью, величественно проследовал верхом капитан де Бородино – он, видимо, питал иллюзию, что участвует в сражении при Аустерлице. За решеткой казармы толпилась горстка прохожих, ждавших, когда полк выйдет из ворот. Принц держался на коне прямо, лицо немного заплывшее жирком, щеки по-императорски полные, глаза ясные; он, судя по всему, был в плену у некой галлюцинации, со мной с самим так бывало всякий раз, когда проезжал трамвай: в тишине, наступавшей после его грохота, я улавливал промельки и зигзаги зыбкой трепещущей музыки. Мне было очень жаль уезжать, не попрощавшись с Сен-Лу, но все-таки я уехал, потому что единственной моей заботой было вернуться к бабушке: до сих пор, когда я думал в этом городке, что там делает бабушка в одиночестве, я воображал ее такой же, как со мной – только без меня, и не представлял себе, как воздействует на нее это «без меня»; теперь нужно было как можно скорей избавиться в ее объятиях от этого фантома, о котором я до сих пор и не подозревал, фантома, вызванного ее голосом; это был образ бабушки, на самом деле разлученной со мной, смиренной, состарившейся (о чем я до сих пор никогда не догадывался), – вот она получает от меня письмо, сидя в пустой квартире, где я раньше уже представлял маму, когда уезжал в Бальбек.

Увы, именно этот фантом я и заметил, когда вошел в гостиную, не предупредив бабушку о своем возвращении, и застал ее за чтением. Я был здесь, вернее, я еще не был здесь, потому что она об этом не знала и ею владели мысли, которые она бы ни за что не обнаружила при мне, подобно женщине, застигнутой за рукоделием, которое она спрятала бы от чужих глаз, если бы



успела. В силу дарованной нам на короткий срок привилегии, позволяющей в тот самый миг, когда мы только что вернулись, как бы застать врасплох собственное отсутствие, я был еще не я, а просто свидетель, наблюдатель в дорожных пальто и шляпе, посторонний, а не здешний жилец, фотограф, пришедший изготавить негатив с тех мест, которых он больше никогда не увидит. То, что автоматически предстало моим глазам в тот миг, когда я увидел бабушку, было именно фотографией. Тех, кого любим, мы видим всегда только внутри живой системы нашей любви, в вечном движении нашей беспрестанной нежности, которая не сразу позволяет нам увидеть зрительные образы их лиц, но сперва увлекает эти образы в свой водоворот и потом набрасывает их на то представление, которые мы составили себе об их лицах давным-давно, так что они пристают к нему, срастаются с ним. Почему, если в моем представлении бабушкины лоб и щеки выражали все самое деликатное, самое неизменное, что таилось в ее душе, почему, если каждый обычный взгляд есть заклинание мертвых, а каждое любимое лицо – зеркало минувшего, почему же я не упустил в ее лице ничего отяжелевшего, ничего оплывшего, ведь даже в самых обыденных жизненных спектаклях наш взгляд, заряженный мыслью, пренебрегает, по примеру классической трагедии, всеми образами, не способствующими развитию действия, и отмечает только те, что помогают разглядеть цель? Но пускай вместо нашего глаза смотреть станет бесстрастный стеклянный объектив или фотографическая пластинка, – тогда во дворе Академии вместо того, как выходит из дверей академик и окликает фиакр, мы увидим, как он спотыкается, как пытается удержаться на ногах, увидим траекторию его падения, будто он пьян или поскользнулся на льду. То же самое происходит, когда жестокий и хитрый случай не дает нашей умной и почтительной нежности вовремя вмешаться и укрыть от наших взглядов то, чего им ни в коем случае не следует видеть, когда взгляды обгоняют ее, и первыми прибывают на место, и, предоставленные сами себе, срабатывают автоматически, словно фотографическая пленка, и вместо любимого человека, которого давно уже нет на свете (но наша нежность никогда не хотела, чтобы его смерть открылась нам), предъявляют нам новое существо, которое до сих пор по сто раз на дню она облекала лживым сходством с тем, кто нам дорог. И я оказался в положении больного, который долго на себя не смотрел и, не видя собственного лица, все время старался придать ему выражение, подобающее идеальному образу, бережно хранимому у него в уме, как вдруг замечает зеркало, а в нем кривой розовый выступ носа, огромного, как египетская пирамида, посреди бесчувственного опустошенного лица, и отшатывается от этого зеркала; я-то был уверен, что бабушка – это все равно что я сам, я никогда не видел ее глазами, а только душой, и всегда в одной и той же точке прошлого, сквозь прозрачность воспоминаний, налезających одно на другое; но внезапно в нашей гостиной, принадлежавшей к совсем другому миру, существующему во времени, другому миру, где живут чужие люди, те, о ком говорят «как он красиво стареет», на диване, под красной, тяжелой, вульгарной лампой, я обнаружил больную, старую, удрученную женщину, рассеянно скользящую по книге расстроенным взглядом и совсем незнакомую.

Когда я попросил Сен-Лу договориться, чтобы мне позволили посмотреть Эльстиров у герцогини Германтской, он мне сказал: «Я за нее отвечаю». Увы, на самом деле, кроме него, никто мне так и не ответил. Мы легко отвечаем за других: мысленно мы владеем их миниатюрными образами, которыми вольны распоряжаться по собственной прихоти. Наверно, мы все равно понимаем, что столкнемся с трудностями, связанными с натурой каждого из этих других людей, ведь они совсем не такие, как мы, и вот мы пускаем в ход разные мощные способы воздействия на их натуру, – корыстные соображения, уговоры, горячность, – чтобы нейтрализовать ее противодействие. Но отличия их натуры от нашей – это, собственно, то, что вообразила наша натура; мысленно мы сами устраняем эти трудности, и способы воздействия дозируем тоже мы. А когда мы в жизни, не в мыслях, пытаемся добиться от другого человека, чтобы он действовал по нашей воле, все меняется, и мы иной раз сталкиваемся с непобедимым сопротивлением. И самое, наверно, сильное сопротивление может оказать женщина, которая



не любит, если она питает непреодолимое, до гадливости доходящее отвращение к человеку, который ее любит: за все те долгие недели, пока Сен-Лу не приезжал в Париж, его тетка так и не написала мне и не пригласила к себе посмотреть картины Эльстира – а я не сомневался, что Сен-Лу написал ей и горячо об этом попросил.

И еще один человек из нашего дома обдал меня холодом. Это был Жюпьер. Может быть, он считал, что по приезде из Донсьера мне следовало зайти к нему поздороваться, не заходя домой? Мама сказала, что это не так и удивляться не надо. Франсуаза предупреждала ее, что такой уж он человек: у него внезапно, ни с того ни с сего портится настроение. Это довольно быстро проходит.

Зима тем временем шла к концу. Однажды утром после нескольких недель снега с дождем и гроз я услышал, что из камина, вместо бестолкового, упругого и угрюмого ветра, от которого до дрожи хотелось сбежать на берег моря, доносится воркование голубей, пристроившихся в каменной стене, радужное, неожиданное, как первый гиацинт, нежно раздирающий свое щедрое сердце, чтобы из него хлынул сиреневый, атласный, звонкий цветок и, подобно распахнутому окну, впустил в мою еще закупоренную, темную комнату тепло, восторг, изнеможение первого ясного дня. В это утро я с удивлением заметил, что мурлычу себе под нос кафешантанную песенку, позабытую с того года, когда я чуть было не уехал во Флоренцию и Венецию. Так атмосфера по прихоти погоды глубоко влияет на наш организм и из неведомых запасов извлекает на свет мелодии, которые наша память не умеет сыграть с листа. Вскоре музыканту, которого я в себе слушал, стал старательно подпевать какой-то мечтатель, не успевший даже распознать, что он такое играет.

Я прекрасно понимал, что не было никаких особых причин, по которым, впервые приехав в Бальбек, я обнаружил бы, что тамошняя церковь уже не чарует меня так, как чаровала, пока я ее не знал; просто воображение мое подменяло собой глаза, присвоив себе их право смотреть, ничуть не меньше, чем сделало бы это во Флоренции, в Парме или в Венеции. Я это чувствовал. Вот так однажды вечером первого января перед афишной тумбой мне открылось, что одни праздничные дни ничем существенно не отличаются от других, и вера в их исключительность иллюзорна. Но я ничего не мог поделать: во мне жила память о временах, когда я верил, что проведу во Флоренции Святую неделю, и из-за этого город Цветов оведал праздничные дни своей аурой, и в Пасхе мне чудилось нечто флорентинское, а во Флоренции нечто пасхальное. До Пасхи было еще далеко, но в череде дней, простиравшихся передо мной, дни Святой недели сияли, выделяясь на фоне всех других. Озаренные упавшим на них лучом, словно одинокие деревенские домики, которые замечаешь издалека благодаря игре света и тени, они притягивали к себе все солнце.

Становилось теплее. Родители сами советовали мне гулять, под этим предлогом можно было продолжать мои утренние вылазки. Я-то собирался с ними покончить, чтобы не встречаться с герцогиней Германтской. Но именно из-за этого я все время думал, как бы выйти из дому, и то и дело находил новую причину, по которой мне нужно на улицу: разумеется, эта причина не имела ничего общего с герцогиней Германтской, и я с легкостью себя убеждал, что и без всякой герцогини я все равно в этот самый час рвался бы на прогулку.

Увы, меня совсем не интересовали встречи ни с кем, кроме нее, но я чувствовал, что она не возражает против встреч с кем угодно, лишь бы не со мной. Во время утренних прогулок она то и дело отвечала на приветствия всяких дураков – причем понимала, что они дураки. Но она сознавала, что их появление – дело случая, пускай оно и не сулит ей радости. А порой она их останавливала, потому что в иные минуты всем нам хочется убежать от себя, принять гостеприимство, предложенное душой другого человека, при условии, что эта душа, при всей своей простоте и нелепости, останется посторонней; а видя меня, она с раздражением чувствовала, что у меня в сердце обнаружит себя самое. И даже когда я выбирал ту же дорогу, что она, не для того, чтобы ее увидеть, а по другой причине, я дрожал, как преступник, если она про-



ходила мимо; а иногда, пытаясь не донимать ее моим, быть может, чрезмерным поклонением, я едва отвечал на ее кивок или пристально смотрел на нее не отвечая, отчего она раздражалась еще больше и постепенно пришла к убеждению, что я нахал и невежа.

Теперь она одевалась в более легкие или, во всяком случае, более светлые платья, а на улице, по которой она шла мимо узких магазинчиков, втиснутых между широкими фасадами старинных аристократических особняков, над входом в молочную, фруктовую и овощную лавку были натянуты шторы, защищавшие от солнца, как будто уже настала весна. Я твердил себе, что вот я издали наблюдаю, как она идет, открывает зонтик, переходит дорогу, а ведь, по мнению знатоков, никто в наше время не превзошел ее в искусстве исполнять эти движения и превращать их в нечто восхитительное. Между тем она все шла вперед, не подозревая о своей всепроникающей репутации; ее узкое, непокорное тело, невосприимчивое к обожанию, кренилось под шалью из фиолетового сюрá; ее хмурые светлые глаза смотрели рассеянно и, быть может, замечали меня; она покусывала краешек губы; я с таким же любопытством смотрел, как она поправляет муфту, подает нищему милостыню, покупает букетик фиалок у цветочницы, как смотрел бы на великого художника, накладывающего мазок на холст. А когда, поравнявшись со мной, она приветствовала меня кивком, к которому иной раз добавлялась тень улыбки, это было словно она нарисовала для меня прекрасную акварель и снабдила ее дарственной надписью. Каждое ее платье представлялось мне ее естественной и необходимой средой обитания, каждое словно отражало особую грань ее души. Однажды утром во время поста, когда она шла пообедать в городе, я видел на ней бархатное светло-красное платье с небольшим вырезом у горла. Лицо герцогини под золотистыми волосами хранило задумчивое выражение. Мне было не так грустно, как обычно, потому что ее меланхолия, какая-то замкнутость, возникавшая оттого, что яркий цвет платья отделял ее от всех остальных, придавали ей нечто горестное, одинокое, и это меня обнадеживало. Мне казалось, что это платье материализовало вокруг нее алые лучи ее сердца, о котором я ничего не знал, а ведь я, быть может, мог его утешить; укрытая мистическим свечением ткани, ниспадавшей мягкими волнами, она напоминала мне святую первых лет христианства. И мне делалось стыдно, что я своим видом огорчаю эту мученицу. Но в конце концов, как говорится, улица принадлежит всем.

Улица принадлежит всем, – твердил я, переосмысливая эти слова и изумляясь, что герцогиня Германтская идет себе как ни в чем не бывало по многолюдной улице, которую то и дело поливает дождь, и улица становится бесценной, как улочки старинных итальянских городов, когда герцогиня смешивает с жизнью толпы мгновения своей тайной жизни и, загадочная, являет себя всем запросто, с роскошной безвозмездностью великих шедевров. По утрам я выходил на прогулку после бессонной ночи, поэтому днем родители велели мне лежать и постараться уснуть. Однако, если хочешь уснуть, не стоит предаваться размышлениям: в этом поможет привычка, а размышления совсем ни к чему. Но привычки мне не хватало, а мысли меня осаждали. Перед тем как заснуть, я столько думал, что мысли не унимались потом даже во сне. Это были только проблески в почти полной тьме, но их хватало, чтобы в моем сне отразилась сперва мысль о том, что я не могу уснуть, а потом, отражением этого отражения, проскальзывала мысль о том, что я сплю и во сне думаю о том, что не сплю, а потом, в силу нового преломления, мысль, что я проснулся... и снова провалился в сон, в котором я хочу рассказать друзьям, вошедшим в мою комнату, что только что во сне я воображал, будто не сплю. Их тени были едва различимы; уловить их можно было только с помощью невероятно изощренной и бесполезной восприимчивости. Так позже, в Венеции, после захода солнца, когда кажется, будто уже совсем темно, я благодаря невидимому на самом деле отзвуку последней солнечной ноты, бесконечно длившейся над каналами, словно кто-то нажал и не отпускает особую зрительную педаль, видел черные бархатные отражения дворцов, бесконечно тянувшиеся по чуть более светлой сумеречности серых вод. Один из моих снов объединял в себе то, что силилось воссоздать мое воображение, когда мне не спалось, – некий морской пейзаж и его средневе-



ковое прошлое. Во сне я видел готический город, окруженный застывшими, как на витраже, морскими волнами. Морской проток делил город надвое; у меня под ногами плескалась зеленая вода; на противоположном берегу она омывала церковь, похожую на восточные храмы, и дома, стоявшие там аж с четырнадцатого века, так что, двигаясь в их сторону, вы словно преодолевали вспять поток времени. Мне казалось, что я уже много раз видел этот сон, в котором природа научилась у искусства, море превратилось в готику, а сам я жаждал пристать к берегам невозможного и верил, что это мне удалось. Но поскольку всему, что мы воображаем во сне, свойственно впоследствии умножаться и представляться нам хоть и новым, но уже знакомым, я полагал, что ошибаюсь. Однако выяснилось, что нет, я в самом деле часто видел этот сон.

Даже приуменьшения, присущие снам, отражались в моем сновиденье, но в символическом виде: в темноте я не мог различить лица друзей у меня в комнате, потому что мы спим с закрытыми глазами; и хотя во сне я без конца облекал свои рассуждения в слова, но, как только хотел заговорить с друзьями, слова застревали у меня в горле, потому что во сне мы не умеем говорить внятно; я хотел к ним подойти, но не мог шевельнуть ногами, потому что во сне мы не ходим; и внезапно мне становилось стыдно предстать перед ними, потому что мы спим раздетыми. В таком виде, с незрячими глазами, с запечатанными устами, со связанными ногами, с обнаженным торсом, изображение сна, порожденное самим моим сном, напоминало большие аллегорические фигуры Джотто – те, среди которых есть Зависть со змеей во рту; репродукции с этих фресок подарил мне когда-то Сванн<sup>59</sup>.

Сен-Лу приехал в Париж только на несколько дней. Он заверил меня, что у него еще не было удобного случая поговорить обо мне с родственницей: «Ориана не очень-то любезна, – простодушно проговорился он, – я уже не узнаю мою Ориану, ее как подменили. Уверю тебя, она не стоит твоего внимания. Ты делаешь ей слишком много чести. Хочешь, я представлю тебя моей кузине Пуактье? – добавил он, не понимая, что мне это не доставит ни малейшей радости. – Она молода, умна, тебе она понравится. Она вышла замуж за моего кузена герцога де Пуактье, он славный малый, но для нее немного простоват. Я ей о тебе рассказывал. Она просила тебя привести. Она красивей Орианы, да и моложе. И такая милая, знаешь, очень достойная особа». Эти выражения Робер усвоил недавно, а потому любил со всем пылом; они означали, что речь идет об особе утонченной: «Не скажу, что она дрейфусарка, надо же считаться с тем, к какой среде она принадлежит, но недавно она сказала: „Если он невиновен, то какой ужас, что его держат на этом Чертовом острове“<sup>60</sup>. Представляешь себе? И потом, она много делает для своих бывших учительниц, она добилась, чтобы им разрешили подниматься не по служебной лестнице, а по парадной. Очень достойная женщина, уверяю тебя. Ориана в глубине души ее не любит, чувствует, что уступает ей в уме».

Франсуазу снедала жалость к выездному лакею Германтов, который, даже когда герцогини не было дома, не мог сходить на свидание к невесте, потому что швейцар бы немедленно об этом донес; сама она тем не менее была в отчаянии, что отлучилась из дому в тот момент, когда меня навестил Сен-Лу, но дело в том, что она сама ушла в гости. Она неминуемо уходила из дому в те дни, когда была мне нужна. Каждый раз ей надо было повидать то брата, то племянницу, а главное, дочку, которая не так давно перебралась в Париж. Семейный характер этих посещений раздражал меня еще больше, чем то, что я лишался ее услуг, потому что я предчувствовал, что о каждом таком визите она будет говорить, как о деле совершенно необ-

<sup>59</sup> ...репродукции с этих фресок подарил мне когда-то Сванн. – Сванн дарил рассказчику эти репродукции в первом томе романа, «В сторону Сванна». Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337) – итальянский живописец. Упомянутая фреска – одна из тех, которыми он расписал Капеллу дель Арена (капеллу Скровеньи) в Падуе. Там изображены семь Добродетелей: Благоразумие, Отвага, Умеренность, Справедливость, Вера, Милосердие, Надежда, и семь Пороков: Безумие, Непостоянство, Гнев, Несправедливость, Вероломство, Зависть и Отчаяние. В 1900 г. Пруст побывал в Падуе и осматривал эти фрески.

<sup>60</sup> ...его держат на этом Чертовом острове. – В 1895–1899 гг. Альфред Дрейфус содержался в тюрьме на Чертовом острове во Французской Гвиане.



ходимом согласно правилам, в которых наставляли в церкви Святого Андрея-в-полях. Кроме того, от ее оправданий у меня всегда портилось настроение, что было совершенно несправедливо; особенно меня выводила из себя манера Франсуазы говорить не просто «я была у брата» или «я была у племянницы», а «я была у брата, а потом забежала на минутку поздороваться с племянницей (или с моей племянницей, той, у которой мясная лавка)». Что касается дочери, Франсуазе хотелось, чтобы та вернулась в Комбре. Однако новоиспеченная парижанка, пристрастившись, как истинная модница, к сокращениям, к сожалению вульгарным, говорила, что и неделя, которую ей придется провести в Комбре, покажется ей бесконечной уже потому, что там нельзя достать «Энтран»<sup>61</sup>. Еще меньше ей хотелось навещать сестру Франсуазы, жившую в провинции, в горах, потому что, как она говорила, придавая слову «интересный» омерзительный новый смысл, «горы – это ничуть не интересно». Она не решалась вернуться в Мезеглиз, где «все люди такие дураки» и где кумушки на рынке, «деревенщины», будут набиваться к ней в родню и твердить: «Да это же дочка покойного Базиро!» По ней, лучше было бы умереть, чем вернуться и осесть в тех краях, «теперь, когда она уже отведала парижской жизни», а Франсуаза, поборница традиции, улыбалась не без сочувствия к прогрессу, который воплощала в себе новоявленная парижанка, говорившая: «Слушай, мама, если тебе не дают выходного, пошли мне пневматичку, да и все тут».

На дворе опять похолодало. «Зачем из дому уходить? За простудой, что ли?» – говорила Франсуаза, предпочитавшая сидеть дома всю неделю, пока дочка, брат и владелица мясной лавки гостили в Комбре. Впрочем, последняя из тех, в ком смутно сохранялась приверженность учению моей тети Леони касательно природных явлений, Франсуаза, упоминая об этой несвоевременной погоде, прибавляла: «Гнев Господень, и больше ничего!» Но на ее жалобы я отвечал лишь томной улыбкой: я был равнодушен к ее пророчествам, тем более что меня-то всяко ожидает хорошая погода: я уже видел, как сверкает утреннее солнце над холмом Фьезоле, я грелся в его лучах; их яркость заставляла меня то распахнуть, то наполовину прикрыть глаза – и они улыбались, наполняясь розовым светом, как алебастровые ночники. Не только колокола долетали из Италии – сама Италия прилетала вместе с ними. Трепетными руками я в мыслях приносил цветы, чтобы почтить годовщину путешествия в Италию, которое должен был совершить уже давно; дело в том, что с тех пор как в Париже так же похолодало, как в минувшем году, когда мы собирались уехать сразу после поста, каштаны и платаны на бульварах, дерево у нас во дворе, омытые текучим и ледяным воздухом, уже начали разворачивать листики, точь-в-точь нарциссы и анемоны с Понте Веккьо в чаше чистой воды.

Отец рассказал нам, что узнал от А. Ж., куда шел г-н де Норпуа, когда он его встретил в нашем доме.

– Он шел к госпоже де Вильпаризи, они близкие друзья, а я и не подозревал. Говорят, это изумительная женщина, возвышенный ум. Ты должен ее навестить, – добавил отец. – Я, признаться, был очень удивлен. Он говорил мне, что герцог Германтский в высшей степени благовоспитанный человек, а мне он всегда казался грубияном. Говорят, что он очень много знает, что у него изысканный вкус, просто он очень горд своим именем и родовитостью. Вообще, по словам Норпуа, у него блестящее положение, не только здесь, но и по всей Европе. Говорят, что австрийский император и российский император с ним совершенно на дружеской ноге. А еще папаша Норпуа мне сказал, что ты очень полюбился г-же де Вильпаризи и что у нее в салоне ты познакомишься с интересными людьми. Он мне тебя страшно расхваливал, ты встретишься с ним у маркизы, и он может подать тебе полезный совет, даже в том, что касается твоих литературных занятий. Уж я вижу, что ты ничем другим заниматься не станешь. По мнению многих,

<sup>61</sup> ...нельзя достать «Энтран». – Имеется в виду ежедневная газета «Энтранзижан», основанная в 1880 г. и весьма реакционная.



это прекрасное занятие, я-то для тебя хотел другого, но ты скоро станешь взрослым, мы не всегда будем рядом с тобой и не должны препятствовать тебе в твоём призвании.

Если бы я мог хотя бы начать писать! Но с какой бы стороны я ни приступал к этому моему плану (увы! точно так же как к планам не пить больше спиртного, рано ложиться, спать, быть здоровым), набрасывался ли я на него яростно, или подходил к нему методично, или радостно в него окунался, запрещал ли себе прогулку или откладывал ее на потом, в награду за труд, улучал ли минуту, когда чувствую себя здоровым, или пользовался нездоровьем, обрекавшим меня на целый день вынужденного бездействия, результатом моих усилий всегда оставалась белая страница, неотвратимо нетронутая и неисписанная, как нежеланная игральная карта, которую неизбежно вытаскиваешь в некоторых карточных играх, как ни хитри, чтобы от нее отделаться. Я был не более чем орудием привычек, – привычки не работать, привычки не ложиться в постель, не спать, и каждая во что бы то ни стало должна была настоять на своем; если я им не сопротивлялся, если довольствовался предложением, который они извлекали из первого же подвернувшегося в этот день обстоятельства, позволявшего им вступить в игру, дело обходилось без особого урона: мне все-таки удавалось несколько часов отдохнуть под утро, немного почитать, обойтись без излишеств, но, стоило мне пойти им наперекор, нарочно лечь пораньше, пить только воду, работать, они раздражались и пускали в ход крайние средства: я заболел, мне приходилось удвоить дозу спиртного, я по два дня не ложился в кровать, я даже читать больше не мог и обещал себе, что впредь буду вести себя благоразумнее, то есть не буду даже пытаться быть благоразумным; я был как жертва ограбления, уступающая грабителю из страха быть убитой.

Отец между тем уже раз-другой встречал герцога Германтского и теперь, когда г-н де Норпуа сообщил ему, что герцог – выдающийся человек, он стал внимательнее к нему прислушиваться. Как-то раз они разговорились во дворе о г-же де Вильпаризи. «Он мне сказал, что она его тетка; он произносит ее имя Випаризи. Говорит, что она необыкновенно умна. Он даже добавил, что ее дом настоящий „кабинет остроумия“», – добавил отец под впечатлением от этого расплывчатого выражения, которое попадалось ему в каких-то мемуарах, хотя точный его смысл от него всякий раз ускользал<sup>62</sup>. Мама глубоко почитала отца; видя, насколько ему небезразлично, что дома у г-жи Вильпаризи «кабинет остроумия», она поняла, что речь идет о чем-то важном. Хотя она давно знала от бабушки истинную цену маркизе, теперь она сразу изменила мнение в ее пользу. Бабушке слегка нездоровилось; сперва она отнеслась к идее визита неодобрительно, а затем потеряла к ней интерес. С тех пор как мы переехали на новую квартиру, г-жа де Вильпаризи несколько раз звала ее к себе. И бабушка всегда отвечала ей письмом, что сейчас она никуда не выходит; теперь она завела обыкновение не запечатывать свои письма сама, а отдавала их для этого Франсуазе. Сам же я не вполне представлял себе, что значит «кабинет остроумия», но не слишком удивился бы, застав старую даму, которую знал по Бальбеку, в каком-то «кабинете», что в конце концов и произошло.

Кроме всего этого отцу хотелось знать, много ли голосов ему принесет поддержка посланника на выборах в Академию, куда он рассчитывал баллотироваться в качестве независимого члена<sup>63</sup>. Он, конечно, не смел сомневаться в поддержке г-на де Норпуа, но, правду говоря, не был в ней так уж уверен. Ему говорили, что г-н де Норпуа хочет быть единственным представителем министерства в Академии и будет чинить всевозможные препятствия еще одному кандидату, который сейчас особенно был ему некстати, потому что он поддерживает другого, – но отец считал все эти разговоры злословием. Ему посоветовал выставить свою кандидатуру

<sup>62</sup> ...ее дом – настоящий «кабинет остроумия»... всякий раз ускользал. – На самом деле это весьма ироническое и несколько устаревшее выражение означает собрание людей, щеголяющих претенциозными разговорами об искусстве, литературе, политике и прочих высоких материях; в таком смысле оно встречается еще у Буало.

<sup>63</sup> ...на выборах в Академию, куда он рассчитывал баллотироваться в качестве независимого члена. – Отец рассказчика собирается баллотироваться в Академию моральных и политических наук.



г-н Леруа-Больё<sup>64</sup>, и, когда этот выдающийся экономист стал подсчитывать его шансы, отец удивился, почему среди коллег, на чью поддержку можно рассчитывать, он не назвал г-на де Норпуа. Отец не посмел спросить бывшего посланника напрямую, но надеялся, что в гостях у г-жи де Вильпаризи я узнаю, что вопрос о его избрании улажен. Этот визит был неотвратим. Агитация г-на де Норпуа в самом деле могла обеспечить отцу поддержку двух третей Академии, и отец крепко на это надеялся, тем более что посланник славился своей услужливостью: даже те, кто его недолюбливал, признавали, что он, как никто другой, любил делать людям одолжения. Кроме того, в министерстве он покровительствовал отцу явно куда больше, чем любому другому чиновнику.

Произошла у отца еще одна встреча, но принесла она ему только изумление, а потом крайнее негодование. На улице он столкнулся с г-жой Сазра – она была весьма небогата и в Париж приезжала лишь изредка, в гости к подруге. Г-жа Сазра всегда раздражала отца настолько, что маме приходилось раз в год говорить ему нежным своим и умоляющим голосом: «Друг мой, надо мне разок пригласить г-жу Сазра, она не засидится допоздна» и даже: «Послушай, друг мой, я попрошу у тебя огромной жертвы, загляни на минутку к г-же Сазра. Ты же знаешь, я не люблю тебе докучать, но это было бы так мило с твоей стороны». Отец смеялся, немного сердился и ехал с визитом. Так вот, несмотря на то что общение с г-жой Сазра не приносило отцу радости, отец, видя ее, подошел, снял шляпу, но, к величайшему его удивлению, г-жа де Сазра обдала его холодом: так здороваются из простой вежливости с человеком, совершившим нечто предосудительное и вообще осужденным отныне жить в другом полушарии. Отец пришел домой потрясенный и разъяренный. На другой день мама встретила с г-жой Сазра в каком-то салоне. Та не подала ей руки и улыбнулась смутно-печальной улыбкой – так улыбаются подруге детства, с которой когда-то играли вместе, но потом прервали отношения, потому что эта подруга ведет разгульную жизнь, вышла замуж за каторжника или, что еще хуже, за разведенного. А ведь между ней и родителями всегда существовали глубоко уважительные отношения. Но г-жа Сазра (о чем мама не знала), единственная в Комбре, была дрейфусаркой. А отец дружил с г-ном Мелином<sup>65</sup> и был убежден в виновности Дрейфуса. Он с досадой послал к черту коллег, просивших его подписать прошение о пересмотре дела. Когда же он узнал, что я избрал для себя другую линию поведения, он неделю со мной не разговаривал. Его взгляды были известны. Его считали чуть не националистом. Даже бабушка, единственная в семье, в ком, казалось бы, должен был пылать благородный огонь сомнения, всякий раз, когда ей говорили, что Дрейфус, возможно, ни в чем не виноват, просто качала головой с таким видом, будто ее отвлекли от каких-то более серьезных мыслей; тогда мы еще не понимали, что это значит. Мама, раздираемая между любовью к отцу и верой в мой ум, пребывала в нерешительности, а потому помалкивала. Ну а дедушка обожал армию, хотя в зрелые годы обязанности национального гвардейца превратились у него в кошмар, и в Комбре он не мог видеть, как мимо ограды марширует полк, без того чтобы не снять шляпу, когда проходил полковник и несли знамя. Всего этого было достаточно для г-жи Сазра, даром что она прекрасно знала, как бескорыстны и порядочны отец и дед: они превратились для нее в оплот несправедливости. Мы прощаем частные преступления, но не участие в преступлении коллективном. Как только она узнала, что отец антидрейфусар, между ней и ним пролегли материки и столетия. Этим и объясняется, что на таком временном и пространственном расстоянии ее приветствие показалось отцу почти незаметным, а она и не подумала подать ему руку и что-нибудь сказать – ведь это все равно не сократило бы разрыва между ними.

<sup>64</sup> ...г-н Леруа-Больё... – Анатолий Леруа-Больё (1842–1912) и его брат Пьер Поль (1843–1916) оба были членами Академии моральных и политических наук; первый, историк, был профессором Пруста в Свободной школе политических наук; второй был экономистом, следовательно, здесь имеется в виду именно он.

<sup>65</sup> Жюль Мелин (1838–1925) – политик, государственный деятель, в 1896–1898 гг. премьер-министр. Это он 7 декабря 1897 г. произнес знаменитую фразу: «Дела Дрейфуса не существует».



Сен-Лу должен был приехать в Париж и обещал отвести меня к г-же де Вильпаризи, где я, не признаваясь ему, надеялся встретить герцогиню Германтскую. Он пригласил меня сперва пообедать в ресторане с его возлюбленной, которую потом собирался проводить на репетицию. Мы должны были заехать за ней в парижский пригород, где она жила.

Я попросил Сен-Лу, если можно, пообедать в том ресторане (а рестораны в жизни молодых аристократов, транжирящих деньги, значат не меньше, чем сундуки с тканями в арабских сказках), о котором Эме говорил мне, что до открытия сезона в Бальбеке он будет там служить метрдотелем. Меня, мечтавшего о множестве путешествий и так редко их совершавшего, очень манила возможность вновь повидать человека, который был частью не только моих воспоминаний о Бальбеке, но и самого Бальбека: он ездил туда каждый год; пока я вынужденно оставался в Париже из-за усталости или школьных занятий, он ранними июльскими вечерами, поджидая, когда посетители сойдутся к ужину, подолгу смотрел сквозь огромные окна ресторана, как опускается солнце и садится в море, пока за стеклом гасли последние лучи, и неподвижные крылья далеких голубоватых кораблей напоминали экзотических ночных бабочек в витрине. Метрдотель словно намагничивался в мощном поле Бальбека и сам становился для меня магнитом. Я надеялся, что, поболтав с ним, сам прильну к Бальбеку, вообразу себе хоть отчасти прелести путешествия.

С утра я уехал из дому, оставив там Франсуазу – она горевала, потому что накануне вечером выездному лакею в который уже раз не удалось навестить суженую. Франсуаза застала его в слезах; он чуть не пошел надавать швейцару пощечин, но сдержался, потому что дорожил местом.

По дороге к Сен-Лу, который должен был ждать меня перед своим домом, я повстречал Леграндена; мы потеряли его из виду после отъезда из Комбре; он уже вовсю начинал сесть, но по-прежнему выглядел молодым и непосредственным. Он остановился.

– А вот и вы, – сказал он, – какой франт, да еще и в рединготе! С этой ливреей моя независимость никак не может примириться. Ну, вы-то, небось, бываете в свете, делаете визиты! А мне, чтобы мечтать над какой-нибудь полуразрушенной могилой, сгодятся и этот галстук, завязанный бантом, и мой пиджачок. Вы знаете, я ценю вашу прекрасную душу; сказать не могу, как мне жаль, что вы пренебрегаете ею в общении с язычниками. Если вы способны дышать в тошнотворной, невыносимой для меня атмосфере салонов, вы сами себе выносите приговор, вы навлекаете на свое будущее проклятие Пророка. Я вижу вас насквозь: вас тянет прогуляться «в Цирцеиных садах»<sup>66</sup> с обитателями замков; это порок современной буржуазии. Ах, аристократы, не прощу Террору, что он не отрубил головы им всем. Все они или опасные негодяи, или на худой конец унылые идиоты. Но если вам, бедное дитя, они кажутся занятыми... Когда вы поспешите на какой-нибудь файв-о-клок, вашему старому другу будет куда лучше, чем вам: он будет один, в каком-нибудь предместье, любоваться восходом розовой луны на фиолетовые небеса. По правде сказать, я чувствую себя изгнанником на нашей Земле, я совсем с ней не связан; вся сила земного тяготения с трудом удерживает меня здесь и не дает улететь в иные пределы. Я с другой планеты. Прощайте, не обижайтесь на старинную прямокутную крестьянина с берегов Вивонны, или, если угодно, с берегов Дуная<sup>67</sup>. В знак того, что вы мне небезразличны, я пришлю вам мой последний роман. Но вам он не понравится: это для вас недостаточно упадочно, недостаточно фен-де-сьекль, слишком искренне, слишком честно, а вам подавай Берготта, вы сами признавались, вас тянет на кушанья с душиком, милые пресыщенному нёбу искателей утонченных наслаждений. В вашем кругу на меня, видать, смотрят как на старого солдафона: я виноват в том, что вкладываю в свои писания сердце, а это уже

<sup>66</sup> ...вас тянет прогуляться «в Цирцеиных садах»... – Легранден цитирует слова из «Плавания» Шарля Бодлера: «В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами, / Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств...» (перевод М. И. Цветаевой).

<sup>67</sup> ...крестьянина с берегов Вивонны, или, если угодно, с берегов Дуная. – «Крестьянин с Дуная» – басня Жана де Лафонтена; ее герой, простой и неотесанный крестьянин, впечатлил римлян пылкой и искренней речью в защиту порабожденного народа.



не модно; и потом, жизнь простого народа недостаточно изысканна, она неспособна заинтересовать ваших модниц. Да ладно, а все-таки вспоминайте иногда слова Христа: «Так поступай, и будешь жить»<sup>68</sup>. Прощайте, друг.

Я расстался с Легранденом без особых обид. Некоторые воспоминания, как общие друзья, способствуют примирениям; деревянный мостик, затерявшийся среди усеянных лютиками полей, там, где высились феодальные руины, объединял нас с Легранденом, словно два берега Вивонны.

В Париже, хотя уже началась весна, деревья на бульварах едва развернули первые листики, и, когда поезд окружной железной дороги высадил нас с Сен-Лу в пригородной деревушке, где жила его возлюбленная, с каким восторгом глядели мы на каждый палисадник, разукрашенный огромными белоснежными фруктовыми деревьями в цвету, словно временно воздвигнутыми алтарями! Это было похоже на один из тех особых, поэтичных, эфемерных местных праздников, на которые съезжаются люди издалека в определенное время года, — но здешний праздник устроила природа. Вишневый цвет облеплял ветки плотно, как белые чехлы, так что издали, оттуда, где на деревьях еще почти не было ни цветов, ни листьев, в этот солнечный и еще такой холодный день казалось, что там, за голыми ветками, уцелел растаявший повсюду снег. Но высокие груши окутывали каждый дом, каждый скромный дворик более просторной, более ровной, более сверкающей белизной, словно все строения, все участки в деревне собрались в один и тот же день к первому причастию.

У въезда в эти деревушки в окрестностях Парижа сохранились парки семнадцатого и восемнадцатого века — поместья интендантов и фавориток. Какой-то садовод использовал один из них, расположенный ниже уровня дороги, для выращивания фруктовых деревьев (а может быть, просто сохранил план огромного фруктового сада тех времен). Груши росли там в шахматном порядке, дальше от дороги, чем те, что мы видели прежде, и промежутки между ними были больше, так что получались огромные, разделенные решетчатыми оградами квадраты белых цветов, причем с каждой стороны свет ложился на них по-другому; и все эти комнаты на свежем воздухе и под открытым небом были, казалось, частью Солнечного Дворца, какой можно обнаружить где-нибудь на Крите<sup>69</sup>; а когда вы видели, как при перемене экспозиции играют на шпалерах лучи, будто на весенних водах, и как бушует внутри решеток искрящаяся и полная лазури, застрявшей между ветвей, белоснежная пена залитого солнцем пушистого цветка, на ум приходили то пруд, разбитый на садки, то участки моря, разгороженные для рыбной ловли или выращивания устриц.

Деревушка была старинная — древняя мэрия, золотистая, прокаленная солнцем, а перед ней, не то вместо майских шестов, не то в виде знамен, три больших грушевых дерева, изысканно разубранные белым атласом, словно для какого-то особого местного праздника.

Никогда прежде Сен-Лу не рассказывал мне с такой нежностью о своей подруге. Она одна царила в его сердце; конечно, ему не были безразличны ни будущая армейская карьера, ни положение в обществе, ни семья, но все это не имело ни малейшего значения по сравнению с любой мелочью, касавшейся его возлюбленной. Только она и всё, что имело к ней отношение, было окружено для него обаянием, бесконечно более властным, чем обаяние Германтов и всех властителей мира. Не знаю, сформулировал ли он сам для себя, что она — высшее существо, превосходящее всех, зато знаю, что он относился с уважением и трепетом только к тому, что шло от нее. Из-за нее он мог страдать, быть счастливым, из-за нее, возможно, был готов убить. Со страстным интересом он относился только к тому, чего хотела или чем занималась его возлюбленная, к тому, что происходило в узком пространстве ее лица, когда по нему,

<sup>68</sup> ...«Так поступай, и будешь жить». — Легранден цитирует Евангелие от Луки (10: 28).

<sup>69</sup> ...частью Солнечного Дворца, какой можно обнаружить где-нибудь на Крите... — Такого дворца на Крите нет, он придуман автором.



сменяя друг друга, скользили мимолетные выражения, и к тому, что в этот мог творилось в ее несравненной голове. Такой деликатный в прочих вещах, он вынашивал планы блестящей женитьбы только для того, чтобы и дальше ее содержать, чтобы удержать ее при себе. Тот, кто задался бы вопросом, во что Робер ее ценит, никакими силами, как мне кажется, не сумел бы вообразить себе столь головокружительную цену. Он не женился на ней только потому, что инстинктивно чувствовал: как только ей станет больше нечего от него ожидать, она его бросит или по меньшей мере перестанет с ним считаться, а значит, нужно, чтобы она постоянно жила, не зная, что будет завтра. Ведь он допускал, что она его не любит. Конечно, она была к нему в общем привязана – а это у людей и называется любовью, – так что временами он, должно быть, верил, что она его любит. Но, в сущности, он чувствовал, что, несмотря на всю любовь, она остается с ним только из-за его денег, а в тот день, когда ей уже нечего больше станет от него ожидать, она поспешит его бросить (потому что, думал он, при всей любви она слепо доверяет своим литературным друзьям).

– Если она сегодня будет в настроении, – сказал Сен-Лу, – я преподнесу ей подарок, который ее порадует. Это ожерелье, которое она видела у Бушрона<sup>70</sup>. Дороговато для меня сейчас, тридцать тысяч франков. Но у бедной моей зайчатки не так много радостей в жизни. Она будет чертовски довольна. Она мне о нем рассказывала и упомянула, что кто-то, возможно, ей его подарит. Не думаю, что это правда, но на всякий случай договорился с Бушроном, чтобы он его для меня приберег – ведь он наш семейный поставщик. Я счастлив, что ты ее увидишь; знаешь, она не такая уж писаная красавица (я прекрасно видел, что думает он обратное, а говорит мне это лишь для того, чтобы восхищение мое было еще больше), но главное, она потрясающе все понимает; при тебе она, наверно, постесняется много говорить, но я заранее ликую, как представлю себе, что она скажет мне о тебе потом; знаешь, в то, что она говорит, можно вникать до бесконечности, она настоящая пифия.

---

<sup>70</sup> ...видела у Бушрона. – Это ювелирный магазин на Вандомской площади, 26, основан в 1858 г.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.